

ВРЕМЯ ИМБ 21 1977

В ЭТОМ НОМЕРЕ: ОПЫТ В ДЕТЕКТИВНОМ ЖАНРЕ ● ПРАВДА О ДЕКАБРИСТАХ ● ЦВЕТ ВРЕМЕНИ У ИСААКА БАБЕЛЯ



Надежда Улановская В России и за границей

ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 21 сентябрь 1977

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Борис Норильский

"Черное и белое" 3

Леонид Гиршович

"Смерть выдает себя" 48

ПОЭЗИЯ

Леонид Губанов

"Преклонив колени" 86

Вадим Делоне

"Слова стучат по дну души" 92

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ

Михаил Ледер

"Этот прекрасный преступный мир..." 101

Ефим Эткинд

"Кленовый лист" 116

ПИСАТЕЛЬ И МИР

Эмиль Коган

"Угол расхождений" 133

Владимир Соловьев

"Цвет времени" 141

ИЗ ПРОШЛОГО

Надежда Улановская

"В России и за границей" 162

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Социальная пластика Иозефа Бойса 208

Коротко об авторах 216

DIGEST OF 21 ISSUE "VREMIA I MY" 217

Главный редактор
Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Фаина Баазова	Михаил Ледер
Георгий Бен	Борис Орлов (зам. гл. редактора)
Лия Владимирова	Наталья Рубинштейн
Егошуа А. Гильбоа	Дмитрий Сегал
Илья Гольденфельд	Иосеф Текоа
Михаил Калик	Аарон Ярив
Галина Келлерман	

Представители журнала:

В Америке — Эдуард Штейн.
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA.
В Германии и Франции — Арий Вернер.
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany
В Англии — Александр Штромас.
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

ПРОЗА



Борис НОРИЛЬСКИЙ

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Окончание. Начало см. в 20 номере журнала

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Растянутая косыми лучами тень пересекла посадочное "Т", шасси коснулись земли. Раздвоенное зрение уловило руку с поднятым толстым пальцем и белые зубы на смуглом лице Васьки Шатравина. Инструктор Сергей Холошевский — рядом со стартером: взлет с посадочной.

Машина оторвалась на уровне красной линейки — можно подольше выдержать. Борис ведет бредущим до границы аэродрома, отпускает ручку — "уточка" взмывает горкой.

Полет по кругу повторяется досадно быстро. Мешковатый Борька Михеев бежит встречать, повисает на крыле и показывает три пальца. Борис и без него знает, что за "горку" на взлете — трое суток губы. Не ожидая вызова, он подходит к руководителю полетов.

— Товарищ капитан, разрешите доложить: трое суток за горку — не так уж много.

На веснушчатом лице капитана Китасова собираются веселые морщинки — он сам неисправимый воздушный хулиган и, вероятно, считает, что без этого не бывает настоящего летчика.

— Дурак, Седой! Эскадрилья завтра идет в оперетту, а ты просишься на губу. Смени Шатравина на финише.

Борис бежит мимо пятачка, навстречу ему из клуба пыли вырывается красная "Индиана" майора Трубчанинова.

— Курсант Седой! Садитесь в коляску. К вам приехал отец.

Мотоцикл проезжает мимо Китасова. Капитан машет белым флажком и смеется.

Борис с отцом вышли за ворота авиагородка к трамвайной остановке.

— Воронцов тебя не любит. Что у вас было?

— Ничего особенного, папа. Мы были еще в теоретическом батальоне, Воронцов отказался подписать мне допуск в секретную библиотеку. Подписал замполит училища, и допуск мне дали.

— Он считает, что ты хитрил, чтобы избавиться от нарядов в караул.

— Это неправда, папа. Воронцов просто антисемит. Изыка Биргер это хорошо чувствует. А меня Воронцов невзлюбил еще и потому, что майор Трубчанинов и капитан Китасов ко мне хорошо относятся.

Отец с сыном вышли из трамвая на площади Павших Борцов, у вокзала, сели в скверике под кленом.

— Мама писала, что ты собираешься в санаторий, папа. Почему не поехал?

Отец не ответил. Сломал две спички, прикуривая, глубоко затянулся и достал массивный серебряный портсигар.

— Сегодня тебе девятнадцать, Борис.

— Спасибо, папа! Васька Шатравин с утра мне напомнил — нацепил голубую ленточку на свою гитару. В полете я опять забыл.

— Боря! Будет война с Германией.

— Почему, папа? А договор?

— Танки и артиллерия второй месяц идут к румынской границе. Ночью из-за грохота нельзя уснуть.

— Мы не успеем кончить училище?

— Война может начаться в любую минуту.

— Папа, я столько должен тебе сказать!

— Хорошо, сын, я пробуду здесь два дня. Ты завтракал?

— Дважды. Ты поешь, а я так посижу.

Они вошли в ресторан вокзала. Борис курил и рассматривал похудевшее, со впалыми щеками, лицо отца. До этого они виделись 27-го августа прошлого года и тоже на вокзале. Провожало человек сорок: бывший десятый "Б", Вера Петровна, родственники. Отец в стороне беспрерывно курил и только в последние секунды, когда поезд тронул, Борис протолкался к нему, прикоснулся губами к сидящему виску. А за этот год как осунулся, постарел! Теперь седина — в полголовы, а ему сорок три года. Надо ли мучить вопросами, на которые он столько лет не мог или не хотел отвечать...

Отец, будто подслушав мысли сына, отодвинул тарелку:

— Ну, спрашивай, чего уж там...

— Папа, я знаю жизнь больше по книгам. Вы, ты и мама, никогда не говорили мне всю правду. Знаешь, что больше всего мне запомнилось в те годы, когда шли аресты? Первого сентября 38-го мы недосчитали в классе десять человек. Один из них, Мара Розенфельд, явился на второй день и объявил, что его отец — враг народа, и они с матерью отрекаются от него. Потом все громко говорили о том, что такое долг; долг перед Родиной, долг перед партией. А я тихонько толковал об этом с Вадиком Задорским. Вдвоем. Мы с ним всегда начинали со спора и в конце концов сходились на чем-то новом для обоих. А в тот раз спора не было. Оба понимали, что страшное, происшедшее в тридцать втором и третьем годах, а затем после убийства Кирова, свершилось только потому, что люди, большинство из них, усвоили неверное понятие о долге, поставили что-то выше матери и отца, выше самой жизни. И еще я понял тогда, что если родители не говорят детям правду, значит в жизни — какая-то трещина. Мне сейчас больно, что в девятом классе я ушел из дому и вернулся только через год, когда ты оставил работу в артели. Такое решение — может, помимо сознания — зрело во мне еще с четвертого класса, когда Борька Штульберг свалился с парты в обмороке. Он никогда не был сыт, его отец был чернорабочим. Мне стали противны ваши бульоны, но я жалел маму и был еще мал и беспомощен. Это был вто-

рой удар; первый — когда пропала семья Кундюковых. Я думал, что твоя жизнь — это квартира, удобства, деньги. Но когда началась война с Финляндией и ты пошел проситься добровольцем, я понял, что у тебя две жизни. Понял, что не ты один живешь двумя жизнями, но до сих пор не пойму — как это можно? Был период, когда мне не хотелось жить и не знаю, что бы я сделал, если бы Юрка Вийсковатов не познакомил нас с Верой Петровной, которая приняла меня в стрелковый клуб. В школе снайперов я вошел в круг ребят, поглощенных своим делом. С ними я впервые узнал, что существует товарищеское содружество и жизнь без фальши. Но и тут не обошлось без занозы — капитан Никулин... Я видел только его фотографию, он был женихом Веры Петровны. Капитан Никулин сбил в Испании восемь немецких самолетов. До Испании он был шеф-пилотом Тухачевского. Его арестовали в день приезда нашей команды на соревнования в Москву, за несколько часов до того, как он должен был встретиться с Верой Петровной. Ты знаешь, кем была для нас Вера Петровна Тительникова. Она ходила к Буденному, он ей посоветовал меньше распространяться о бывшей дружбе с врагом народа. Она не верила, что Никулин враг, была безутешна и не могла скрыть от нас этого. Вот, пожалуй, и все. А сейчас расскажи о Кундюкове — все, что знаешь.

— Хорошо. Выйдем.

Михаил рассчитался, они вышли в сквер и сели на ту же скамейку. Несколько минут молча курили. Михаил собрался с мыслями, тяжело вздохнул.

— В Мякишева и меня стреляли бежавшие из ссылки кулаки. Это выяснилось спустя два года. Никто из ста восьми арестованных не вернулся в Беляевку. Кундюков умер на допросе. Его убили, быть может, случайно, в припадке ярости. Семьи арестованных выслали в Красноярский край. Я был там, ты помнишь. Галя замерзла, а дед Алексей скорей всего умер голодной смертью. Лешку сдали в детдом, он сбежал оттуда. Жив ли он? Трудно что-то предполагать. Был страшный голод.

Теперь о раздвоенности нашей жизни. Как тебе объяснить?

Начну со случая в дивизии. На последнем привале на подходе к Коростеню Щорс беседовал с большой группой бойцов, окружило его человек двести. Один из командиров, помнится Галкин, высказал недовольство, что в нашей дивизии командиры не имеют в обозе подвод для перевозки "трофейного" барахла, а в других частях Красной Армии имеют, и даже установилось неписаное правило: комвзвода — две, роты — три, батальона — четыре и так далее.

Щорс тут же отстранил Галкина от командования ротой. Я видел Щорса в этот день еще несколько раз и на другой — в день прорыва, за несколько часов до его гибели. Он выглядел подавленным и угрюмым. Я был слишком зелен, чтоб проникнуть в его мысли, но понимал, что дело не в Галкине — таких было много. Немало времени прошло, пока я понял, что это была тревога за судьбу дела, которому мы отдавали жизнь.

Щорс и Кундюков решали судьбу дивизии после отступления 5-й армии. Прорыв с тяжелыми боями они предпочли отходу по разоренным тылам, где можно было прокормиться только реквизицией продовольствия у полуголодного населения. На это пошел даже Якир. Главное для большевиков было тогда — спасти революционную армию! А в двадцать первом и тридцать третьем годах — спасти революционный рабочий класс! Крестьяне — пусть гибнут. Зерно — под метелку. Революция стала целью, а не средством построения лучшей жизни.

Кундюков говорил, что многие пошли в революцию от жажды перемен, что вызвана застоем и скукой обыденной жизни; пошли, на многое закрыв глаза. Но и те, кто пошли в революцию чуть не сослепу, впитали свет ее идей, обрели в общей борьбе чувство собственной значимости, которое дается лишь участникам великих событий. Оно возвышает, становится лучшей частью души и на время избавляет от мелочного, суетного.

Кончились бои, и вот революция продолжается в ликвидации недобитых врагов, в борьбе с оппозициями, с инакомыслием, с кулачеством, в коллективизации, индустриализации.

зации — во всем, что убивает жизнь настоящую во имя будущей.

Деревья находят пищу в расщелинах скал. Так и люди приспособляются к революции — ищут щели и тянут соки. Это и есть вторая жизнь. Для многих, с течением времени — для большинства, она становится первой, главной, единственной. Но чувство значимости, о котором я говорил, связано с революцией, с ее идеями, отдельно от них оно не существует. И убить его невозможно, как невозможно убить память. Отсюда — двойная жизнь. Легче тем, кто ее не знает.

Тем, что я сказал, не все можно объяснить. Но скоро все это отодвинется на второй план. Война будет ужасной. Если одному из нас суждено выжить, дай Бог, чтоб это был ты. Я верю в ваше поколение. Оно будет чище.

... На причале былолюдно, шла посадка на пароход. Свернули на песчаный, усеянный галькой берег. Хаты дальней сталинградской слободы, прикрытые нависающими ветвями ветел, подступали к самой воде.

— Папа, здесь живет сторож причала, дед Степан Сомов. Мы ходим к нему в дни увольнений. Зайдем?

Дед Степан напоил их ключевой водой, отвез на остров Красноармейский. Шагах в двадцати от берега начинался кустарник. Черемуха уже отцвела, ветки бузины подрагивали красным цветом. Они купались на отмели, обдавая друг друга брызгами, и солнце, отражаясь в каплях, рассыпалось на мокрой коже.

Дед потчевал их водкой, икрой и ухой, а вечером, от сумерек до полуночи, катал на моторке. Увез на разлив, вниз по реке, то ускоряя, то замедляя ход.

— Вот она — Волга — течет, как наша жисть, голубая, часом серая, а то — красная от кровушки.

Лодка прорезала лунную дорожку, отбрасывая переливчатые блики. Отец с сыном глядели на воду, на рассыпанные по берегам огоньки. Хмель улетучился, уступив место невеселым думам.

Необычную в этот час тишину нарушил треск репродуктора: "Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза..."

Михаил сжал локоть сына.

— Началось!..

...Люди продвигались по вагону бесшумно, пригнувшись, будто придавленные тишиной. Объявили отход. Все сразу засуетились, заговорили, раздался женский плач. Михаил простился с сыном на перроне и вернулся в вагон. Борис смотрел на зеленоватые стекла, на подрагивающий подбородок отца и, вспомнив, что еще многого не сказал, побежал за тронувшимся поездом...

Перрон оборвался. Раздвоилось и скрылось лицо в вагонном окне.

Курсанты заняты обычным в "личное" время занятием: "козел" навскидку — проигравшие под стол. Борька Михеев пытит на четвереньках, длинный Колька Ястребов согнулся в три погибели, подпирая спиной крышку стола.

Борис дочитал письмо матери. Бои идут на подступах к Одессе. Началась эвакуация. Отца видел в форме батальонного комиссара, дома он не появлялся.

Запыхавшись, вбежал Ванька Негодаев.

— Ребята! Капитан Роллин топает по шоссе на шоссейке в солдатской робе БУ и в обмотках!

У капитана Роллина мать немка. В Испании он сбил три мессера. Вчера он сдал эскадрилью майору Бухтиярову и получил назначение в стройбат. Стук прекратился. Забойщики выбежали на улицу.

Рядом с Борисом стоял курсант выпускной эскадрильи Роллина, Женька Жуков. Женьку хотели отчислить по летной неупеваемости — на УТИ-4 он не улавливал землю. Роллин сорок часов отработал с ним на низко-посадочной полосе и выпустил.

Роллин прошел мимо Жукова, Женька не то мычит, не то стонет. Борис приложил руку к пилотке.

Солдат Роллин кивнул и прошел мимо курсантов, растянувшихся до входных ворот городка.

Подъем в полвторого — как гром среди ясного неба. Курсанты с закрытыми глазами бегут в сушилку за портянками. Возле столика дневального Бориса перехватывает Изька Биргер:

— Открой глаза, Борис! Читай объявление.

Борис протирает глаза и читает приписку под повесткой дня комсомольского собрания 5-й эскадрильи: "2. О персональном антипатриотическом поступке курсанта Седого Б.М."

День, восемь часов полетов, восемь — теоретической подготовки, промелькнул, как сон.

Спящий строй курсантов проследовал из столовой в помещение эскадрильи, проснулся по команде: "Разойдись", увидел раздвинутые "забойные" столы и комиссара эскадрильи Воронцова над красной скатертью. Борис вспомнил о собрании и приписке к повестке дня.

Воронцов не умеет скрывать свои чувства. На его лице — злорадное торжество. Тут вошли майор Трубчанинов и капитан Китасов.

Комсорг Пашка Прохоров открывает собрание, предоставляет слово комиссару эскадрильи.

Трубчанинов жестом усаживает Воронцова и объявляет:

— Повестка дня со мной не согласована. Собрание отменяю. Кто еще приветствовал красноармейца Роллина по уставу — поднимите руку... Никто?! От имени службы всему личному составу эскадрильи, за исключением курсанта Седого, объявляю устный выговор. Разойдись!

Майора Трубчанинова повысили в звании и назначили заместителем начальника училища по летной подготовке. Эскадрилью принял капитан Китасов. Через неделю начал осуществляться разработанный Трубчаниновым план форсированного обучения. Эскадрилью Китасова передислоцировали в район Качалино — в излучине Дона, где располагались обширные летные поля. Взамен отстающих по летной программе ее пополняли успевающими курсантами из других эскадрилий. Таким образом, к началу октября 42-го года

сто тридцать курсантов — более половины — вылетели самостоятельно на истребителе И-16.

8-го ноября Борис Седой получил от отца единственное письмо, датированное 10 октября 1941 года.

Что отец погиб в тот же день, он узнал двенадцать лет спустя.

ГЛАВА 2

Был теплый день конца июля. Костров не разжигали. Сидя за штабелем, Казан рассказывал Щеглу.

— На Беломорско-Балтийский канал я прибыл в тридцать первом по восьмой судимости. Тогда здесь было тысяч двести — воры, растратчики, кулаки.

Через год свернулись земляные работы, и начался отлив, кого по чистой, а больше на Рыблаг. В тридцать пятом к нам переселили четверть Ленинграда, вторая четверть пошла на Колыму, а половину шлепнули. В тридцать шестом поперли этапы — перевалило за миллион. ББК растекся во все стороны и давай леса вырубать. На Ильмень мы пришли на голое место, год жили в палатках, без печек, а морозы — лютые. Фраера ложились в три этажа друг на дружку. Бушлаты сдирали с замерзших. К весне в нашей бригаде осталось шесть человек и сорок девять бушлатов. Мы Интеллигента запрашивали, что будет? Федя ответил, что лесные академики не допустят уничтожения лесов и будет отлив. Точно. Пошло — на Рыблаг, Печеру, Воркуту, Буреполом.

А теперь война. Телячих не хватает солдат перевозить. Окочуримся или попадем к немцам. Ты — малосрочник, тебя возьмут в армию.

— Скоро, Казан?

— Хер их знает. Драпают, оглянуться некогда. Зря ты спешишь, Щегол. За Родину, за Сталина! Сука — твой Сталин. Социализм на костях. Сгниют кости — весь социализм завалится! Сколько лет гниют кости?

— Не знаю.

— И я не знаю. Надо у Федя спросить. Керосин есть? Скоро комары налетят.

Ходу до зоны — два с половиной часа, ближе все вырублено. Керосин выветрился. Комары — тучами. Собаки с покусанными мордами злобно рычат, хватают задних за ноги.

На другой день бригаду Лаптева оставили в лагере огораживать вторым рядом проволоки карантинную зону. Через два дня прибыло шесть тысяч долгосрочников с 4-го лагпункта. Вечером Казан прошел в карантинную зону и возвратился в сопровождении рослого мужчины, добротного одетого, с виду лет пятидесяти. Жора Лаптев оставил их одних за загородкой. Казан окликнул его:

— Приведи Щегла, Жора.

Встретив острый взгляд из-под очков в роговой оправе, Пашка догадался, что перед ним Федя Интеллигент, прославленный похожими на легенды рассказами. Интеллигент, он же Историк, он же Профессор, подал Пашке руку.

— Здравствуй, будем знакомы. Федор Иванович Бабарыкин.

— Алексей Кундюков, он же Пашка Щеглов.

— Садись, Алексей. Казан рассказал о тебе. Ты хороший малый, но вором никогда не будешь. Долгосрочников отправляют на Рыблаг. Вас возьмут в армию. Казан будет огорчен, если ты оставишь котелок на поле боя. Слушай и запомни:

— В атаке погибают первые, при бегстве — последние. В атаку иди последним, драпай — первый.

— Лежачее тело — мишень в шесть раз меньшая.

— Ложись первый, вскакивай последний. Без руки жить можно, без головы — нет. Будет туго — подставляй под пули руку. Лучше быть живым дезертиром, чем мертвым героем. При первой возможности дезертируй. Запомнил?

Первого сентября рота внутренних войск сменила дивизион ВОХРы; в домике рядом с казармой разместился штаб, и 6-й лагерьный пункт стал 269-м запасным стрелковым полком. Бывших зэков расписали по ротам, взводам, отделениям; началась строевая и политическая подготовка. Политическая больше устраивала. Урки и приклатненные пацаны усердно храпели под чириканье политруков и бойко отвечали на вопросы:

— Защита Родины — священный долг каждого фрея.

— Сталин — вождь всего человечества. Остальные вожди — на стreme.

— Капитализм — сосаловка. Социализм — лафа: воруй по возможности.

— Армия держится на дисциплине. Дисциплина — на губе. Какая на губе пайка?

Но больше всего нравились борщ и перловая каша.

Ждали медкомиссию, но она не торопилась. Зато торопились немцы. 20-го сентября западный ветер донес отзвук орудийных залпов. Комполка решил ехать поторопить медиков. Единственная полуторка не завелась — какой-то пацан увел свечи. Вояка, награжденный орденом за растерянный в Финляндии полк, сам растерялся. Его выручил командир конвойной роты:

— Гони без комиссии, доходяги отсеются на этапе.

269-й запасной стрелковый полк (ЗСП) костылял, каждый час падая на привал, и визжал, требуя борща и каши.

Покрыв за шесть дней сорок километров, полк достиг железной дороги. Пристанционный поселок из восьми изб весь день варил борщ, а когда он был готов, частично сбылось предсказание комконвойной роты. Только отсеялись не фитили, а самые крепкие. В ушах комполка звенела знакомая цитата: "... в исполнение в двадцать четыре часа." Комконвойных вторично успокоил:

— До посадки в вагоны за численность я отвечаю. Требуй вагоны и сажай, пока есть кого.

Переговоры по военно-комендантско-железнодорожным инстанциям длились два дня. Наконец подали вагоны. Лязгнули засовы; улеглись селедкой; загудело, дернуло, закачало, убаявало перестуком колес.

Утром Пашка открыл боковой лючок под крышей телячьего вагона. Ворвались лучи, селедочные ряды зашевелились, потерлись друг о дружку, разлепились, рассыпались и уселись на нарах. Пашка долго смотрел в люк и, наконец, сообразил:

— Пацаны! Мы едем на восток, в тыл!

Пацаны ответили громким "Ура". Комполка услышал "Ура", решил: репетируют атаку.

Все же есть в желудке часовой механизм — крик и стук поднялись во всех вагонах одновременно, как по команде: Жрать! Жра-а-а!.. Б-бах! Б-бах! Б-бах!..

Старички с желтыми флажками изумленно провожали грохочущий состав: "Что там — без упаковки? Не уложили, не увязали?"

На дизпункте шпану переостригли, переодели в новое, не по размеру, обмундирование, выдали ботинки и обмотки, сползающие с тощих, без выпуклостей на икрах, ног. К утру полк оказался поголовно разут. Вызванная строевая часть прочесала соседнее село и нашла часть ботинок. Фронт требует — страна дает! Разутых одели в ботинки БУ. Штабной вагон отцепили, и дальше, уже на запад, ехал не полк, а маршевые роты.

В Ярославле маршевики совершили стремительную атаку на базар. Трофеи дались не без потерь в людском составе. В итоге, много ли, мало ли, а половину довели и высадили на сборном пункте под Старой Руссой.

Никто не хотел брать шпану. Гулаговское пополнение сколачивалось и понемногу просачивалось сквозь цепи заградчиков. Наконец появился бравого вида лейтенант. Он осмотрел строй и упавшим, без тени надежды, голосом объявил:

— Мне нужно десять добровольцев в полковую разведку. Желающие — пять шагов вперед — арш!

Посыпались вопросы:

— Что дают жрать?

— Сто грамм перепадет?

— Бабы есть, или трухааете?

Лейтенант отвернулся, плюнул, но, почуяв чей-то сосредоточенный взгляд, повернулся к строю и встретился с неподвижными голубыми глазами.

— Сколько лет?

— Девятнадцать.

— Пойдешь ко мне?

Он увел Пашку Щеглова, а вслед несло:

— Не берешь?!

— Ну и соси ты!..

ГЛАВА 3

10-го июля 1942 года немецкие танки прорвались к Дону в районе Иловайска. В тот день Хейнкели разбомбили станции Качалино, Воропоново и Конная — главные узлы аэродромного района авиаучилища.

Два выпускных звена эскадрильи Китасова — 60 человек — сдавали последние зачеты по высшему пилотажу. Их перебросили на центральный сталинградский аэродром, 16-го июля состоялся выпуск.

Учебные полеты прекратились, училище начало готовиться к эвакуации. Железнодорожное полотно от Сталинграда до Поворино было полностью уничтожено бомбежками. Для эвакуации училища срочно строилось новое полотно на левом берегу Волги.

Из выпускников сформировали отдельный истребительный полк системы противовоздушной обороны Сталинграда — с задачей патрулировать район авиаучилища и Тракторного завода.

Командиром полка был назначен подполковник Трубочанинов, комиссаром — батальонный комиссар Воронцов. Командиром эскадрильи, в которую зачислили Бориса Седого, стал капитан Китасов.

Два дня бывшие курсанты принимали моторизованные истребители И-16 с усиленным мотором. Утром 22-го июля должны были начаться тренировочные полеты, но вместо подъема в четыре часа утра прозвучал сигнал боевой тревоги: в направлении Тракторного летело сорок пять бомбардировщиков Хейнкель в сопровождении тридцати шести Мессершмитов.

Эскадрилья Китасова взлетела первой и перехватила строй бомбардировщиков за четыре километра до завода. Скорострельные пулеметы менее чем за минуту выпустили боезапас по неуязвимой броне Хейнкелей. Фанерные "ишаки" остались беззащитными под пулеметно-пушечным огнем. Капитан Китасов развернул эскадрилью, дал сигнал рассредоточиться и вторично повел на сближение. Подошла эскадрилья старшего лейтенанта Шумилина. Мессеры били

сверху из пушек. Фанерные "ишаки" загорались, не долетая до строя Хейнкелей.

В третьем заходе капитан Китасов, старший лейтенант Шумилин, выпускники лейтенанты Ястребов и Селеверстов прорвались и таранили четыре Хейнкеля. В это время подоспели еще две эскадрильи полка во главе с Трубчаниновым. Строй Хейнкелей дрогнул, на развороте сбросил бомбы в Волгу и ушел на запад. Бой с Мессерами продолжался не более минуты. Трубчанинов и капитан Новокченев сбили по одному немецкому истребителю.

Иссякли патроны. Трубчанинов приказал выходить из боя. В этом воздушном бою немцы потеряли шесть самолетов, полк Трубчанинова — двадцать два. Погибли командиры эскадрилий Китасов и Шумилин и двенадцать выпускников.

Восемь выпускников выбросились из сбитых самолетов с парашютами.

Борис Седой погасил парашют и увидел Шатравина. Василий шел навстречу, припадая на поврежденную при приземлении ногу.

Вечером собрались в курилке. Никто не говорил о неудачно начавшейся боевой службе. Шатравин не брэнчал на гитаре и не мурлыкал свою любимую "Ночку синюю".

Ставка перебросила в район Сталинграда восьмую воздушную армию. Город опоясался полками зенитной артиллерии. Массированные налеты прекратились, к Сталинграду прорывались лишь одиночки на большой высоте.

Полк Трубчанинова пополнили недоучившимися курсантами, у которых наспех приняли госэкзамен. Перед полком поставили задачу: постоянное патрулирование в районе Тракторного завода. За неделю, с 24-го по 31-е июля, Борис совершил еще двадцать боевых вылетов.

Это произошло в последнем патрульном полете. Солнце садилось. Звено шло вдоль Волги на высоте четырех километров. Внизу слева краснели крыши жилого поселка Тракторного, справа белела песчаная россыпь острова Красноармейский. Борис узнал место, где купался с отцом в последний предвоенный день. Черная тень пересекла отмель

и поползла по острову. Хейнкель вынырнул из облака со стороны солнца и, снижаясь, пошел к Тракторному. Борис отжал сектор газа, вырвался вперед, развернулся и повел самолет на сближение. Очередь турельного пулемета прошла обшивку фюзеляжа, машина задрожала под ударами пуль. Борис сделал недопустимую ошибку: он ушел от огня не вниз — переворотом, а взмыл горкой, подставив под огонь живот машины. Но ошибка обернулась удачей. Немецкий стрелок, не ожидавший такого нелепого маневра, не успел развернуть турель. Истребитель пронесся над ним и после разворота оказался в выгодном положении — в хвосте Хейнкеля и со стороны солнца, имея преимущества в высоте. Борис поймал в перекрестье прицела фонарь кабины пилота и не отрывал руку от гашетки, пока серебристая обшивка не взбухла перед глазами и не скрылась под ним.

Вероятней всего, пуля убила летчика. Хейнкель, не загораясь, врезался в землю.

В тот вечер им зачитали приказ о переобучении полка на скоростном истребителе. С этой целью полк эвакуировался вместе с авиаучилищем в Северный Казахстан.

Полк разместился в райцентре, деревне Федоровка, в восьмидесяти километрах от Кустаная.

В середине сентября прибыли двухместные Яки. Инструкторов не прислали. Трубчанинов освоил новую машину и сделал с каждым летчиком по пять провозных и одному контрольному полету. На это ушло полтора месяца. Молодые, неоперившиеся летчики, не привыкшие к повышенной посадочной скорости, за две недели вывели все машины из строя. С Саратовского завода сообщили, что новая партия самолетов может быть отгружена, в лучшем случае, спустя два месяца. Переобучение затягивалось на неопределенный срок.

Состав полка находился на казарменном положении, но с прекращением полетов это стало сущей формальностью, на которую никто не обращал внимания. Никто, кроме комиссара Воронцова и помкомандира полка по строевой

части старшего лейтенанта Харина, который одновременно являлся комендантом гарнизона.

У Воронцова и Харина были две общие страсти: любовь и ненависть. Любовь — к спиртному. Ненависть к Борису Седому и Исааку Биргеру выражалась у них по-разному. Харин, при случае, выдавал ее иронической ухмылкой в сторону картавящего Биргера. По отношению к Седому он прямо ничего не позволял себе, зная его нрав, а больше — опасаясь Трубчанинова. В ненависти Воронцова Борис убедился в тот вечер, когда Трубчанинов отменил комсомольское собрание; о злобной неприязни Харина он и не подозревал.

Воронцову с Хариним ничего не стоило поймать Бориса на нарушении казарменного режима; при желании это истолковывалось как дезертирство. Они знали, что Борис ночует у вдовы погибшего председателя райпотребсоюза, но вдов было достаточно, и ночевали у них все. Нужно что-то покрепче, такое, чтоб сам Трубчанинов был бессилён помочь. Они ждали. И дождались.

В Федоровке жила восемнадцатилетняя полячка Мария Заинчиковская. Красавица, она стала предметом вздыхания многих, но ответила взаимностью одному — лейтенанту Володе Устенко, земляку Седого. Ее родители, католики, согласились обойтись без обряда венчания, но настояли на символической свадьбе. Трубчанинов дал Володе согласие на брак. Свадьбу наметили на 4-е января.

Харин включил лейтенанта Седого в наряд, заступающий вечером 4-го января, назначив начальником караула номер два, несущего охрану бензохранилища. Трубчанинов, как обычно, утвердил расписание караулов на декаду, не читая. Седому о назначении в караул не объявили. На доске расписания караулов, висевшей в коридоре штаба, фамилия начальника второго караула была вписана Хариним после развода. Неявка начальника караула на развод была явлением обычным. Разводящий уводил караул, а начальник являлся в караульное помещение позднее, иногда лишь для того, чтобы расписаться в журнале приема и сдачи.

Поезд из Челябинска прибывал в 23 часа 30 минут по

местному времени. В одиннадцать часов вечера Харин зашел за Воронцовым, и они пошли на станцию встретить заблаговременно вызванного Хариним по телефону инспектора Уральского Военного Округа майора Лобова. Инспектирующий, в сопровождении комиссара и коменданта гарнизона, со станции направился на поверку караулов. В караул номер два они явились в половине первого ночи. В это время лейтенант Седой отплясывал краковяк с матерью невесты.

Заседание военного трибунала Челябинского гарнизона состоялось 27-го января 1943 года. За дезертирство, нарушение устава гарнизонной службы и уклонение от исполнения воинского долга в военное время лейтенанта Седого приговорили к десяти годам лишения свободы — с заменой тремя месяцами штрафной роты, лишением офицерского звания и ходатайством о лишении правительственных наград. На гауптвахте с него содрали погоны, отобрали орден, полученный за сбитый под Сталинградом Хейнкель, и направили в запасной стрелковый полк, расположенный в городе Камышлов Челябинской области.

Солдат маршевых рот преследовали три кошмара: голодный тыловой паек, строевая подготовка и образца 1891/31 года ржавая, одна на отделение, винтовка, с которой солдаты поочередно выполняли упражнение "ложись-вставай-ложись". Так и матерились по всей стране маршевики: "в хлебки, строевки, винтовки душу мать!"

... Пульман со ста двадцатью штрафниками проскакивал под зеленые семафоры; колеса отсчитывали секунды, отделяющие от фронта, где за чередой затемненных городов и заснеженных пашен маячил, манил фронтовой, первой категории паек и законные сто грамм перед атакой.

Эшелон разгрузился на тупиковой станции Нелидово — железнодорожные ворота Калининского фронта, притихшего в двухмесячной обороне.

После шестидесятикилометрового голодного похода с минами на плечах по болотным тропинкам мимо спаленных деревень, вытянувших обгорелые остовы печных труб и

колья с надписями на дощечках: Жацкое... Гунино... Львово... — все, что осталось от деревень,— рота вошла в прифронтовую полосу. Унылый ландшафт оживился кладоискателями из второго эшелона, рыскавшими на пепелищах в поисках закопанной гнилой картошки. Счастливым попадались куски разорванной конской падали, не догнившей под талым снегом.

В расположении тыла дивизии конвой сдал маршевую старшему лейтенанту Ларину, и она стала именоваться сорок четвертой армейской штрафной ротой.

От прежней роты того же названия к этому времени остались только сам Ларин и три младших лейтенанта — командиры взводов. Поэтому Ларин тут же назначил младший командный состав.

Борис Седой получил должность помкомвзвода, командирами отделений этого взвода были назначены Фима Портнов — талантливый музыкант, пропивший рояль из гарнизонного Дома Красной Армии, Степан Шатров — кубанский казак, пропивший тысячи портянок из каптерки, и Миша Гендлер, смазавший по морде лейтенанта интендантской службы, когда тот спросил его, за что в Ташкенте дают медали.

Главное назначение штрафных рот в обороне — разведка боем; тактическая единица такой операции — взвод. Штрафники бегут до проволочного заграждения перед окопами противника и по сигналу ракет возвращаются, оставляя убитых и вынося раненых. Повернувшись вспять до сигнала расстреливают из своих окопов первого эшелона. В это время на наблюдательных пунктах засекают и наносят на карту огневые точки противника. Случаи, когда некому возвращаться и выносить раненых, не редки. Так было за день до того, как сорок четвертую пополнили маршевиками, с которыми прибыл Борис.

После первого боя ему стало ясно, почему десятилетний срок заменяют всего тремя месяцами штрафной роты: в девяти случаях из десяти это — смерть.

Они ходили в разведку боем через день.

Трибуналы дивизий ковали пополнение бесперебойно.

Состав взвода менялся с чудовищной быстротой. Борис не успевал запоминать фамилий и различал бойцов по национальности, цвету кожи, глаз, а чаще — просто не различал.

Чувство обреченности было единственным, постоянным. И одно желание, надежда, мечта: рана! Хорошая рана. Ничто — руку, ногу, чтоб больше не возвращаться в этот кромешный ад. Штрафники не скрывали друг от друга своих чувств — все сравнивалось перед лицом смерти. Первый месяц — шестнадцать самоубийственных атак...

Сталинский приказ номер 227 — "Ни шагу назад!", зачитанный в августе сорок второго, и последовавший перелом в ходе войны предстали перед Седым в новом свете. Он слышал о секретных и сверхсекретных инструкциях к этому приказу, знал о заградотрядах, спецчастях НКВД, о вторых эшелонах, получивших приказ стрелять по частям, отступающим без приказа командования. Судьба штрафников открыла ему смысл новой стратегии. Второй эшелон — по первому! Задний — по переднему! За лишний день жизни — бей по своим! А завтра поменяют местами, и повторится то же самое.

Ведь все, все довоенное было наполнено тем же смыслом. Сейчас — заградотряды, вторые эшелоны и лишний день жизни. Тогда — партийно-комсомольский актив, комитеты бедноты и лишний кусок кроха — это тоже жизнь.

Во взводе Бориса из прибывших вместе с ним оставался один Михаил Гендлер. Во время отдыха поступило пополнение — двадцать штрафников. Среди них был летчик штурмовой авиации, разжалованный старший лейтенант Иван Катин. По просьбе Бориса, Ларин назначил его командиром отделения.

Катин слетал в самоволку на своем тихоходном штурмовике Р-5. Станица, в которой проживали его эвакуированные мать и отец, находилась в шестидесяти километрах от полевого аэродрома. В результате — стандартная десятка и замена штрафной ротой.

Катин принимал участие в мартовской операции 8-й воз-

душной армии на Керченском направлении; он рассказал Борису о судьбе истребительного авиаполка Трубчанинова. Полк прибыл в дивизию генерала Красноярова незадолго до начала операции. Это был первый боевой вылет полка на истребителях Як-1. Двенадцать эскадрилий бомбардировщиков направлялись бомбить укрепленную линию немцев, расположенную в семидесяти километрах за линией фронта в районе Старой Керченской крепости. Полк Трубчанинова сопровождал их.

На обширной сети немецких полевых аэродромов вокруг Керчи стояла 3-я воздушная армия, укомплектованная опытными асами. Немцы располагали средствами раннего оповещения и налаженной радиоразведкой.

В тридцати километрах за линией фронта бомбардировщики и полк Трубчанинова были с трех сторон атакованы "Фоками" и "Мессерами" — их было не меньше ста пятидесяти.

Трубчанинов принял бой, чтобы дать возможность уйти бомбардировщикам. Его полк сбил тридцать истребителей и весь погиб — до единого. Из ста десяти бомбардировщиков вернулись сорок четыре, шесть из них, подбитые, сумели перетянуть через линию фронта.

Ларин находился на переднем крае с начала войны. Два фронтовых года открыли ему не записанные в уставах и учебниках тонкости психологии боя.

Сейчас Ларин лежит на наблюдательном пункте и в бинокль следит за разведкой боем. Он давно убедился, что эта мудро упрощенная операция не нуждается в руководстве. Всегда все как по заведенному...

Но сегодня немцы ведут себя странно — не стреляют. А взвод уже пересек половину нейтральной полосы. Заминировали подходы? Что это? Остановились! Неужели повернут? Ага! Седой перестраивает. Две шеренги — гуськом друг за другом. Правильно! Меньше передних — меньше подорвется. Ух, как понеслись! Тоже правильно. Пока сработает взрыватель — пронесет на два-три шага вперед. Не стреляют, гады. Нечего засекать. Дать отбой? Ларин раздумывает секунду

и выпускает три зеленых ракеты. Бегущие исчезли в стеклах бинокля. Ух, хитер! Залегли. Сейчас немцы откроют огонь. Ага, ползут. Одной шеренгой. Ну и лейтенант! Будто курсы "Выстрел" окончил. Ползти будут долго. Взрыв! Погиб Седой! Жалко...

Погиб не Седой. Когда залегли после сигнала, к нему подполз Миша Гендлер:

— Борька! Я ужасно боюсь мин. У меня на них нюх, как у мыши на кошку. Это с тех пор, как я видел саперов на учении. Мины были учебные, а лица у саперов — каменные. Пустяки меня первым.

Миша Гендлер подорвался посередине нейтральной полосы, быть может, на последней мине.

... Борис получил справку о снятии судимости и принял станковый пулемет во втором батальоне 319-го полка. Он с изумлением прочитал в "Красной Звезде" маленькую заметку под названием "Заменял командира в бою". В ней сообщалось, что боец Б. Седой, заменив раненого командира, вел роту в атаку на укрепленную высоту с криком "За Родину! За Сталина!"

В полку Борис пробыл два дня. На рассвете 27-го июня без видимой причины завязалась перестрелка между окопами, разделенными восемьюстами метрами нейтралки. Пулеметы на ночь были зачехлены. Он протянул руку, чтоб снять плащпалатку, зацепившуюся за дульный срез. Шальная пуля пробила мякоть ладони, не задев кость.

В полковом медпункте ему сменили повязку. Он хотел отказать от медсанбата:

— Хочешь, чтоб загноилось?

Борис взял направление, вышел из палатки и чуть не столкнулся с голубоглазым, увешанным орденами, старшиной. Борис обомлел. Заломило в висках. Вылитый! Как вырезанный из журнала "44-я Киевская дивизия" портрет Николая Кундюкова. Лешка! Лешка! Борис не знал, не нашелся, что сказать, и глухо спросил:

— Что ты здесь делаешь?

— А ты что делаешь? — ответил вопросом Пашка и тоже узнал. — Борис?

— Алексей! Лешенька! Лешка! Живой?!

— Сам видишь. — Алексей оглянулся, приложил палец к губам. — Только я не Алексей. Я — Павел Щеглов. Куда ты идешь?

— В медсанбат.

— Я тебя провожу.

Они выбрались из редкого пролеска на опушку.

Внезапно Алексей остановился.

— Борис! Ты не знаешь, что случилось с отцом?

Седому казалось, что он не говорит, а выворачивает себе внутренности:

— Дядю Николая... Твоего отца убили на допросе. — Алексей смотрел на него остановившимися невидящими, изменившимися цвет глазами. — Не обижайся... я должен уйти... найду тебя в санбате.

Алексей пришел в санбат спустя пять дней. Без погон, без орденов, со скатанной шинелью и вещмешком.

— Выслушай, Борис. Я отказался от всего — от оружия, звания, должности. Это все не мое. Я не Щеглов. Я — Кундюков. Заявил, что я эпилептик и потребовал направления на комиссию. На фронте у меня не было припадков, а теперь, я знаю, будут. В направлении написали две фамилии, как в лагере: "он же". Меня направляют в Кафтино, возле станции Бологое. Там запасной полк и госпиталь. Я больше не могу говорить. И ты не говори. Прощай!

— Леша, подожди. После снятия судимости меня должны направить по специальности. Только я не знаю, я разжалованный. Я приеду, я найду тебя, слышишь, Лешка?

— Хорошо. Не провожай. Прощай!

Алексей вышел на опушку, сел в первую попутную машину.

Рана загноилась. Бориса продержали в санбате дольше месяца. 7-го августа 1943 года его выписали в полк, но он направился в отдел кадров дивизии.

Начальник 4-го отдела капитан Ментаковский перелистал подшивки инструкций.

— Приказ-то есть, а инструкции насчет разжалованных нету. Отдел кадров фронта принимает только офицерский состав. Могу направить тебя в отдел укомплектования. Согласен?

— Согласен.

Капитан заполнил бланк командировочного удостоверения, вписал в графу о цели командировки: "для использования по военной специальности".

На попутных машинах и товарным порожняком Борис добрался до станции Западная Двина. От нее до Бологого, через Торопец, ходил регулярный поезд. Он сошел в Торопце на пятый день пути. Отдел укомплектования располагался в деревне Маслово, в восемнадцати километрах от города.

Бориса принял начальник 2-го отделения отдела укомплектования майор Филимонов. Перелистал те же инструкции и почти дословно повторил фразу Ментаковского:

— Приказ приказом, а в инструкциях насчет разжалованных ничего не сказано. Могу направить тебя в батальон аэродромного обслуживания, станция Западная Двина — и тут же написал черными чернилами на обороте выданной в дивизии командировки: "Направляется в 127-й БАО, ст. Зап. Двина. Срок явки 16 августа 1943 г." Расписался, приложил треугольный штампик.

Настроение Бориса было хуже плевого. Половину пути до Торопца он прошел пешком. Попутных было много, но не хотелось садиться. Испарились все надежды. Теперь не вернуться в авиацию, больше не свидеться с Алексеем. И это — после того, как они чудом встретились! Западная Двина — в стороне, противоположной от Бологого. Бологое! Узел снабжения трех фронтов — вокруг полно истребительной авиации. А что, если... Даже боязно подумать: задумаешь, а не сбудется. Рассказывали же о таких случаях. Значит, бывает. Командир части может взять к себе военнослужащего, потом оформить через отдел кадров. Больше не на что надеяться. Другой возможности нет и не будет. Борис принял решение, и сразу стало легче. Он сел на попутную машину, доехал до Торопца и переночевал на вокзале. Поезд

на Бологое отошел в десять. В два часа дня Борис сошел на станции Бологое.

Куда идти? Слегка тошнило от голода. Паек, полученный на станции "Ломоносово", он прикончил вчера и больше суток не ел. Он пошел разыскивать продовольственный пункт.

Продпункт находился в трехэтажном деревянном доме. У окованной двери полуподвала — часовой с зелеными погонами: "Этапно-заградительная комендатура".

Седой открыл дверь продпункта и вошел. Пункт обслуживали два человека. На первом — зеленые погоны, на втором — интендантские. Первый проверял документы, второй заполнял продаттестат и выдавал сухой паек. Борис подал документы второму, первый перехватил их. Борис набрал в легкие воздуха. Первый посмотрел на командировку, на аттестат, на Бориса и передал документы второму. Борис выдохнул. Второй посмотрел на Бориса, на аттестат, на командировку, и его рука повисла в воздухе. Борис снова перестал дышать.

— Ще шо-то напысано, — произнес второй с украинским выговором. Он не повернул бланка оборотной стороной к себе, а поднес его к лампочке, висевшей между двумя столами.

— Да...

Рука первого взяла командировочное удостоверение, другая его рука нажала кнопку на столе. Минуту спустя ефрейтор и солдат этапно-заградительной комендатуры вели дезертира Бориса Седого на гарнизонную гауптвахту.

Дом стоял на берегу озера, шагах в тридцати от воды, фасадом к городу. Площадка вокруг огорожена колючей проволокой, просвет между столбиками — вход. У входа — часовой. Второй пост — возле дверей гауптвахты. Другая дверь — вход в караульное помещение. Длинный коридор. Направо — большая камера, в длину коридора. Налево — меньшая камера и две одиночки. Бориса ввели в большую камеру. Щелкнул засов. Он насчитал пятнадцать тел, лежащих на сплошных нарах, и задал первый вопрос:

— Обед уже был?

Ложавшие сели. Возле зарешеченного окна, в сторону

озера, стал ногами на нары худощавый капитан с вытекшим глазом.

— Накормим, служивый. Прод-вещ-снабжение предусмотрено расписанием караулов: восемь суток на прод-и-вещ-склады, девятые — губа.

Пока Борис уплетал булку и сахар, капитан Афанасьев разглядывал его.

— Эх, нет моего батальона — всех накормил бы. — И вдруг капитан погрузился. — Все легли зимой под Ржевом. Сотни тысяч легли. А сводки: "местные бои с незначительными потерями." Нет бога!

Кроме Афанасьева, в камере еще три офицера: лейтенант-танкист, лейтенант-сапер и пехотинец, младший лейтенант Женька Артемьев. Возле Женьки дали место Борису.

На губе стояли махорочный дым коромыслом и всеобщее веселье. Бориса не удивило, что никто не скрывает радужного настроения: сидеть лучше, чем воевать. Один Женька не был весел: ему грозил расстрел. Окончив полугодичную школу, он пятнадцать месяцев катался по стране, подделывая даты на направлении. Он не принимал участия в камерных концертах. Иногда, когда все умолкали, он грустным мальчишеским голосом напевал романс "Старый клоун". И всем становилось грустно, не за себя — жалели Женьку.

Утром третьего дня Афанасьев сказал Борису:

— Сегодня тебя поведут к прокурору Алексееву.

После завтрака загремел засов одиночки.

— Повели буйного.

— Какого буйного, капитан? — спросил Борис.

— Мы его не видели и не слышали. Он только дерется. Привели дней десять назад. Конвойный что-то не так сказал, и буйный врезал ему, — унесли на носилках. Потом еще вмазал начальнику караула. Последние дни отдыхает, лежит тихо.

За Борисом пришли после того, как увели "буйного" из одиночки. За дверью с табличкой "Военный прокурор" находилась крохотная прихожая. В ней стояли двое конвойных, кроме тех, что привели Бориса.

Покоробленная дверь прокурорского кабинета плотно

не закрывалась. Через щель были видны голова и майорский погон, наполовину скрытый чужой спиной в солдатской гимнастерке.

— "Буйный", — подумал Борис и услышал голос прокурора:

— Подписывай, все равно не выкрутишься. Заключение комиссии — симулянт. Будем судить.

— Судите!

Борис узнал голос Лешки — перехватило дыхание...

— Лагерем спасаешься, кулацкий выблядок!

Мелькнула отведенная рука, — хрустнула сломанная челюсть. Майор со стулом повалился на стенку, вскочил и выхватил из ящика стола пистолет.

Борис рванул дверь. Прыжок, удар по кисти ребром ладони, стук выпавшего "ТТ". Взлетел кверху в Лешкиных руках массивный чернильный прибор, мраморная доска расколосась на бритом черепе прокурора.

На них навалились вертухаи. Миг — и комната набилась зеленопогонниками. В комендатуре оказалась одна пара наручников. Один браслет надели на правую руку Алексея, другой — на левую Бориса.

Их повели по улице. Алексей сказал:

— Борис, я смогу жить только в тюрьме и лагере. Знаешь, у меня чувство, что я сейчас исполнил... ну, как сказать... долг, понимаешь, перед отцом... — И улыбнулся свободно, по-мальчишески широко.

Борису было не унять колотящегося сердца. В лагере, тюрьме, у черта на рогах — лишь бы вместе! И он засмеялся:

— Мы связаны одной цепью, Лешка!

Путешествие из Бежецкой тюрьмы в колонию запомнилось, как лучшее в их жизни. Лежа ничком на соломе, они глазели по сторонам. Казалось, что телега мотается и подпрыгивает на месте, а березовые перелески, подгребая белыми веслами-стволами, плывут мимо по морю желтых листьев. Солнце катится к горизонту, телега поспешает за ним, все больше отставая, потом несется с пригорка и кажется — вот-вот догонит.

Макар Пантелеевич натянул поводья, передок уперся в ноги лошадки, задремавший конвоир повалился на Алексея, выругался и велел слезать.

Их ждали. От вахты до двух барakov растянулась шеренга из полусотни баб.

С вахты они направились в столовую. Женщины окружили их; вперед выдвинулась довольно миловидная девка. Ее глаза прилипли к Алексею. Простуженный голос прохрипел за ее спиной:

— Катька Жихариха — наскипидаренная.

Катька с воем рванулась в бабью толпу. На ее месте оказалась тетка лет тридцати, которую, по всему виду, побаивались.

— Хватит, кобылы! Дайте мальчикам вылебать баланду. И нечего Катьку срамить — все хороши... Бабы нехотя разошлись. Алексей и Борис выпили по две миски баланды и перебежали в меньший, мужской барак. Шесть стариков за шестьдесят лет уже почивали на нарах. Попозже, когда их сморил сон, в барак неслышно пробралась Катя Жихарева, легла подле Алексея, тягуче зашептала:

— Ой, немоготно! Ублажи бабу.

Борис захлебнулся смехом. Алексей спокойно спросил: — Кто тебя скипидарил?

— Гришка. Я его наградила. А мандавошки тогда у всех были — этап завез. Баб полейтаней мазали, я тогда при коровах была. Посла Гришка меня скипидарил. На фронт взяли. Ой, небось, убило Гришеньку!

— Больно было?

— Печетно. Ублажишь?

— Прямо тут? А старики?

— Старики негожи. Я тебя заприметила.

— Ты не поняла, Катя. Старики услышат.

— Обвыкли. Ублажишь?

— Не здесь. Найди место.

— Место — только бидоны.

— Какие бидоны?

— Молочные. Ключ у Грибихи, старшей нашей, что кобыл разогнала. Не даст ключ, ей самой немоготно. Ублажишь?

— Нет, Катя. Достанем ключ — тогда. Сейчас уходи.

Маруся Грибова следующим вечером подошла к Борису, спросила: — "Лет-то сколько?" — вздохнула и отворила дверь каморки, где стояли жестяные бидоны. Бидоны подпрыгивали на ветхом полу, ударялись друг о друга и звенели.

Ключ Маруся оставила Борису для Алексея. Бидоны звенели...

...Покидали Синюху на исходе пятого дня. Бабы снова выстроились, как в день их прибытия. Они прошли сутулясь, втянув голову в плечи.

...Шесть километров пути от Синюхи до центрального участка Самутика раскисли от непрерывных дождей. Шагов за десять чавкал сапогами вертухай. Стемнело...

Они третью неделю работали на ручной валке. Норма — пять валенков за семисотграммовую пайку — была фантастикой. Утирая пот, смешанный с парами купоросной кислоты, Борис бормотал:

— Загнешься — не выполнишь.

Пути Господни неисповедимы! Цепь событий, сыгравших главную роль в дальнейшей судьбе Алексея Кундюкова и Бориса Седого, началась с пустяка. Кладовщик сапоговалыки Витька Вагин, эдакий пухлый боровик, не делавший пропусков на нарах, вмещающих полторы сотни баб, залез на шестидесятидвухлетнюю Прасковью Ручкину против ее воли. Глупая старуха подняла шум на всю зону. Слух дошел до начальника колонии Мурника. Он зашел в жарко натопленный женский барак и повесил шапку на гвоздь. Шапку увел шустрый малолетка Васек Долгов, прошмыгнувший в дверь вместе с начальником. Малолетки не выдали похитителя и все — сто пятнадцать пацанов — были лишены вечерней каши. Вечером малолетки разыграли комедию суда и вынесли приговор: использовать Васюку в задний проход всем баракком. К утру Долгов скончался.

Нарядчица Женя Рыжова, ежевечерне принимавшая малолеток по двое-трое, решила покарать их недельным постом. Но себя карать она не хотела и послала за Алексеем.

Вошедший в кабинку нарядчицы Алексей был схвачен ею и повален на кровать: "Сопrotивляйся!"

Алексей не замедлил исполнить просьбу — грузная туша нарядчицы вывалилась из кабинки вместе с фанерной перегородкой.

Борис к концу смены почувствовал недомогание и, вернувшись в зону, направился на вечерний прием в санчасть. Его приняли вольнонаемная начальница санчасти и заключенная главврач. Через день Борис был здоров. Но вышеупомянутые дамы, поставив диагноз "воспаление легких", продержали его в изолированной палате десять дней — пока Борис не заболел.

Вернувшись из санчасти, он не застал Алексея. Нарядчица отомстила — его отправили на этап.

Витька Вагин не был наказан. Потерпевшая Прасковья Ручкина сорвала злость на своей начальнице, заведующей амбаром, наступав Мурнику, что та развела бардак в амбаре на брезенте, горячем от созревшей под ним ржи. Созревшей ржи оказалось семнадцать тонн. Мурник направил в Калинин акт на списание. Областное Управление МВД не утвердило акт. Мурник нашел другой выход: скормить прелую рожь заключенным.

Мука из прелого зерна не всходила. Взамен хлеба выдавали жидкую затируху. Начался мор. За неделю умерло сорок три ээка. За вторую — вдвое больше. Когда за один день ушло ногами вперед двадцать шесть арестантов, Борис опешил и задумался о побеге. Удачный побег был маловероятен: колонию окружали незамерзающие торфяные болота, на единственной дороге на станции Кентово стояли четыре оперпоста. Но — пусть неудачный. В лагерь, из которого бежали, не возвращают, а отправляют в тюрьму. Иначе — только в крупных лагерях, где есть свой спецлагсуд. Перебрав четырнадцать оставшихся мужчин, Борис счел подходящим напарником Мишаню Чернова. Вор, отсидевший семь месяцев из двухгодичного срока, парень здоровый. Минутный урок арифметики — через сколько примерно дней сыграет в ящик последний — сильнейший в лагере — убедил Чернова в необходимости бежать. План побега был составлен в тот

же вечер. На следующее утро, 1-го февраля 1944 года, Борис и Мишаня не вышли на работу. Отказчиков тотчас посадили в барак усиленного режима — БУР.

Латыш Мурник, на заре революции служивший в Кремлевской охране, был человеком добродушным, потому его всегда держали на задворках. Режим сельхозколонии номер два не отличался суровостью. Отказы от работы были редки — можно было перекантоваться на работе, за это, кроме как штрафной пайкой, не наказывали. БУР всегда пустовал, для него не требовалось большого помещения. Комната три на два метра находилась в одном здании с шорной мастерской. От шорной БУР отделялся перегородкой из обполо.

Ночью оттянули нижнюю часть двух обполо, развели их по сторонам. Мишаня проник в шорную, запаса несколькоими концами веревки и пучком пакли.

Обаполы установили на место, приготовили из пакли два кляпа, спрятали веревку под нары и стали ждать дежурного по зоне надзирателя, который обычно навещался в БУР около часа ночи. Весьма кстати дежурил преклонных лет сержант Морозов. Он переступил порог — и через несколько минут, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту висел под нарами, подтянутый к ним пропущенной в щели между досками веревкой.

Мишаня надвинул до бровей ушанку с кокардой, надел поверх бушлата надзирательский полушубок; беглецы направились к вахте — впереди Мишаня с кляпом в руке, за ним Борис с веревкой. Взятый за горло вахтер успел издать один хрипящий звук открытым по-рыбий ротом, куда тотчас был забит кляп; его привязали к кронштейну, подпиравшему полустолик, где в ящике хранился револьвер надзирателя и вахтенный журнал.

Беглецы направились к казарме ВОХРы и потребовали командира. Сонный командир не сразу сообразил, чего от него хотят. Поняв, удивился:

— Зачем сюда пришли?

— Не пришли. Ты нас задержал, — ответил Мишаня.

Шутка имела успех.

— Проходите!

— Бить не будут?

— Зачем, раз сами пришли.

Чем меньше город, тем приятнее тюрьма. Если бы не козырьки на окнах — вообще не тюрьма. Деревянные полы, деревянная параша, ничего — с крышкой. Баня тоже деревянная, с полатями, есть неработающая парная. Правда, с водой туго, но это везде, даже в квартирах. Главное — не слепит свет. Ночью в камерах нет света. Благодать!

После первого допроса их больше не вызывали — не зачем. Вызвали утром 24-го мая подписать обвинительное заключение. После обеда заседал трибунал Кашинского гарнизона — прямо в тюрьме. Капитан — председатель, члены — два старшины, писарь. Свидетели: надзиратель Морозов, вахтер Терехов.

Обвинение: статья 58-14 — контрреволюционный саботаж, статья 165-Б — ограбление со взломом, статья 59-3 — бандитизм.

Приговор: Чернову Михаилу Павловичу — десять лет лишения свободы; Седому Борису Михайловичу — высшая мера наказания, расстрел.

Мишаня утешил однодельца:

— Расстрел — формальность. Мода сменилась еще в конце сорок третьего — поголовно всем заменяют катушкой. Где бы ни судили, ждуть замены будешь в Бутырке.

В 105-й камере Бутырской тюрьмы оснований для бодрости оказалось достаточно. Во-первых, через стенку, в 103-й, когда-то сидел Владимир Маяковский; во-вторых, баптист Жариков здорово рассказывал библейские истории; в-третьих, бывшему директору хлебозавода Глебову ежедневно разрешали передачи — хватало на всю камеру. А главное, на третий день ввели капитана Никулина. Борис сразу узнал его по фотографии, которую видел у Веры Петровны, — только очень похудел.

Борису хотелось сразу все: вспомнить Маяковского, слушать Жарикова, курить "Казбек" Глебова; но сейчас перед ним — только Никулин.

— Капитан, вы помните Веру Тительникову?

В глазах Никулина — изумление, горе, страх.

— Ты знал ее?

— Я из ее стрелковой команды. Мы были в Москве, когда вас взяли.

— Она жива?

В последнем письме из эвакуации мать писала, что был слух, будто женская снайперская рота Тительниковой вся погибла. Трудно выговорил:

— Были слухи... в бою под Одессой... Но это не точно.

— И я слышал. Значит — точно!

Как Никулин попал в камеру смертников? Ведь его взяли шесть лет назад...

Спустя несколько дней рассказал сам:

— В Лефортово меня продержали три с половиной месяца. Допрашивал зверюга "Молот", его фамилии никто не знал. Допытывался, кто еще был связан с Тухачем. Связана была вся армия, — так я и отвечал. Хлопотал ли за меня кто из генштаба, по сей день не знаю, — отправили на курорт. Была такая шарашка под Жуковкой — сорок зэков. Нашу бригаду — шесть человек — возили обслуживать центральный селектор ГУЛага. Селектор — старое название, это была радиостанция. Там принимали цифровым кодом рапорта о разводе от всех лагерей и составляли своды. Зэки, конечно, не этим занимались — работали в котельной, мели, убирали. А я как-то подружился с вычислителями, заходил к ним пожрать и отдохнуть. Кода, конечно, не знал, но сводная составлялась после расшифровки. Иногда удавалось кое-что подсмотреть. Голова шла кругом, казалось, еще год-два, вся страна сядет.

Сводный рапорт за 19-е декабря 39-го я разглядывал с четверть часа, — ребята ушли в комнату техников подслушать сенсацию с финского. До гроба не забуду. Состояло на 18-е декабря 29 миллионов 403 тысячи. Прибыло — 228 тысяч, убыло — 172 тысячи, из них 159 тысяч умер-

ших. На 19-е декабря — 29 миллионов 459 тысяч, в том числе группа "В", стационарные больные и слабкоманды — 6 миллионов 105 тысяч.

Если хочешь — запиши. Когда-нибудь расскажешь...

Кончилась финская, шарашку разогнали. Загремел на Колыму. Молчал, конечно. Однажды — распирало меня — не выдержал. Полгода назад. Мыкали котлован в паре с бывшим бригадным комиссаром Борщаком — он грузил, я отвозил, потом менялись. На перекуре прорвалось... Понял все спустя неделю, когда повезли на пересмотр. Пересмотрели: вышак. Заменят — как раз шесть лет тяну — вот тебе и шестнадцать. Да теперь мне — все равно!

С приходом Никулина в камере восемь человек: четверо на откидных койках, остальным — матрацы в проходе. Из восьми боялся всерьез, что поставят к стенке, один, девятнадцатилетний Гнатюк, западник, тоже баптист, тоже за отказ от оружия. Днем он кричал, ночью всхлипывал. Днем прощали, ночью — и без того тошно: спит лампа, укрыться с головой не разрешают. А дни текли быстро — Жариков был неистощим, слушать его можно было без конца. Один раз Глебов перебил рассказчика: — "А что этот Иона не открыл ларек в брюхе кита?" — но, оглянувшись на Бориса, прикусил язык.

Первым на замену вызвали Никулина. Потом ушли Глебов и Гнатюк. Бориса вызвали утром 27-го июля.

Начальник тюрьмы, полковник с интеллигентным лицом, в роговых очках, весьма вежливый, положил на стол поллиста:

— Трибунал Московского округа заменил вам расстрел десятилетиями лишения свободы и пятью годами поражения в правах. Срок исчисляется со вчерашнего дня. Распишитесь.

Миновав множество лестниц и коридоров, Борис попал в круглую камеру. Глазая на расписанные маслом потолок и стены, сделал шаг, наткнулся на ноги, посторонился и едва не опрокинул парашу.

Постояльцы 73-й лежали селедкой, половина на, низком, в ладонь высотой, дощатом помосте, другая — на выложен-

ных мозаикой мраморных плитах. Никто не шелохнулся, да и невозможно — если шелохнуться, то вместе.

Седой стоит у параша. После двухмесячной отсидки без прогулок кружится голова. Должны же они подвинуться! Он напоминает о себе:

— Здорово жил князь Бутырский! — Безрезультатно. —

— Не подвинетесь — опрокину парашу, суки! — орет Борис, а круглый свод вторит: уки-и!

Расшевелились. Сели. По удлинненным, мертвенно бледным лицам, множеству очков и пенсне под серыми ежиками Борис понял: попал к политикам. Особенно поражало высохшее, обтянутое пепельной кожей лицо с сократовским лбом без морщин и такими же пепельными, казалось, без зрачков, глазами — не человек, а мумия. Мумия заговорила:

— Если вы уголовник, любезный, то мы будем требовать, чтоб вас увели из нашей камеры.

Здесь воздержаться от непарламентских выражений, — подумал Борис, — иначе до отправки на пересылку просидишь на параше. Подбирая в памяти выпретенные слова, он обернулся к мумии:

— Затрудняюсь ответить, любезнейший. Мои представления о кодексе не столь пространны, чтоб вникнуть в суть каждой статьи. Впервые меня судили за преступления, предусмотренные тремя статьями сугубо военного характера. Повторно привлекли к ответственности за контрреволюционный террор и дезертирство. Последний, м-м — разве возможно предусмотреть превратности судьбы? — быть может, не последний раз меня настигло возмездие за контрреволюционный саботаж, бандитизм и грабеж. Теперь, зная перечень моих преступлений, почтеннейший, вы сможете судить, к какой разновидности преступников я отношусь.

В другой стороне камеры раздался смех. Борис повернул голову, его обдало теплом доброй улыбки.

— Все не смешно, Вячеслав Максимович! — пробормотала мумия.

Вячеслав Максимович, не обратив на нее внимания, крикнул Борису:

— Пройдите сюда, молодой человек. Если не раздвигаются

— ступайте по ним. Стыдно, друзья! Один на сто сорок — всего семь десятых процента, — настолько человеческое мясо сжимается.

Вячеслав Максимович поджал ноги.

— Пока посиди. Утрясемся после прогулки. Из смертной? — Да. Из 105-й.

— Так и думал. Академика с вами не было?

— Кличка? — не понял Борис. Вячеслав Максимович улыбнулся.

— Не кличка. Беспокоюсь за Баландина, — завистников много! Следствие нам вели вместе, потом разделили.

— Вы тоже академик!

— Нет. Доктор, профессор. Да, будем знакомы — Кострыкин. — Борис назвал, оглядел собеседника. На кого он похож? Здорово похож, а не вспомню. Суворов! Вылитый Суворов! И обратился к Кострыкину:

— За что вас?

— За что? Ты же сам сказал: "представления не столь пространны, чтоб вникнуть во все статьи". Выходит — кодекс пространней наших представлений. Очевидно, за это!

Общение между пятидесятивосьмилетним ученым и двадцатидвухлетним недоучкой длилось три дня. Раздался голос надзирателя за дверью:

— Собирайся, Седой. После завтрака пойдешь.

Вячеслав Максимович загрустил:

— Как же ты — с полным кодексом?

— Ничего, Вячеслав Максимович! Пока все идет по плану. Авось и дальше так. Лешку бы встретить!..

Не знал Борис Седой, что, кроме хитрой цепи событий, приведших его к столь удачно, по плану выполненному побегу, есть еще одно, не известное ему обстоятельство, — плод тупости, столь часто вершащей судьбы людей.

Как-то, задолго до побега, Мишаня Чернов окликнул Бориса в столовой.

— Жив-здоров, Одесса?

И пошло-покатилось среди малолеток: "Борис Седой — не летчик, а знаменитый вор "Одесса". И докатилось до

ушей начальника надзорслужбы лейтенанта Карпухина. Как и малолеткам, лейтенанту не пришло в голову, что двадцатидвухлетний Седой не может быть вором, за которым охотился угрозыск еще задолго до войны. Непроверенные данные не положено записывать на страницах формуляра, на то — ленточка.

Легкой рукой лейтенант написал: "Вор-рецидивист, кличка "Одесса". Со слов", — и клеил ленточку в формуляр, который будет следовать за арестантом из лагеря в лагерь, до освобождения или смерти.

В страшные два первых года войны алчно-ненасытный ГУЛаг отдал, вырвал из своей утробы, полмиллиона канувших, растворившихся в тридцатимиллионном море солдатских шинелей.

Но забрезжил свет военных удач. Знамя победы мерещилось над далеким, за пять тысяч верст, Берлином. И ГУЛаг уже распротер руки к фронту, растопырил жадные пальцы. Отдай! Верни! Невидимые нити связали лагеря с фронтом. Прорыв — отдай! Клин — отдай! Наступление — отдай! Поражение — отдай! Начиналась, разрасталась великая досрочная демобилизация.

И казалось: нет другого спасения солдату — смерть или лагерь.

В освобожденных городах мгновенно возрождались тюрьмы, пересылки. Ростов, Керчь, Харьков, Киев! Тюрьма, тюрьма, тюрьма, пересылка!

А бывало и так:

— Петька! Жив?

— Жив, Васька! Бачишь — хромаю, став вертухаем.

— А я смазал пятки. Дали десятку.

— Вмистях воювати — тэпэр охраняты?

— Веди нас, Петруша, едри твою душу!

... После суточной перетасовки камер этапная колонна — как бы в одной солдатской робе — выползла из ворот Краснопресненской пересылки на залитое светом прожекторов железнодорожное полотно. Садись! Руки назад! Вертухаи простукивали стены и полы вагонов. Первая четверка! Быстро!

Раз, раз, раз, раз. Гав, гав, гав, гав. Вторая! Быстро! Третья! Четвертая!..

Трое суток в вагонах. Рыбинск, станция Переборы — комендантский лагпункт Волголага. Начальник конвоя и два вертухая с чемоданами формуляров прошли в зону. Пробыв там часа два, вернулись. Этап выгрузили и повели к Волге на баржу. Начконвоя вызвал:

— Седой! Установочные?

Борис отчеканил фамилию, имя, отчество, год и место рождения.

— Он же?

— Никаких "он же".

— Останешься здесь. — Начконвоя передал формуляр сержанту. Этап погрузили в баржу. Буксир. Гудок.

Подводу, запряженную парой, привел прихрамывающий вертухай. Ефрейтор сел на передок. Сержант — позади Бориса.

— Трогай!

Лагерь возник в 1927 году под скромным названием Рыблаг — Рыбинский лагерь. Первый, вскоре ставший комендантским пересыльным, лагпункт Переборы вырос на правом берегу Волги, рядом с одноименной станцией в десяти километрах от Рыбинска. Рыблаг питали кулацкие этапы Украины, Дона, Кубани, Воронежской и Тамбовской областей. Много этапов — с каждым месяцем больше. Лагерь переступил Волгу, врубился в бассейны ее верхних притоков — Мологи и Шексны.

Большая рубка обеспокоила Москву: нельзя лишать Волжский бассейн зеленого покрова. Вода и лес! Где еще так приятно рыбачить, охотиться на кабанов и диких коз? Не этот ли скрытый мотив дал толчок идее создания Мариинской системы гидростанций, каналов, шлюзов? О Рыбинском море еще не помышляли, избегали сплошного уничтожения леса, но перекачка людей с Беломорско-Балтийского канала, начавшаяся в 32-м году, когда свернулись земляные работы, продолжалась. С 32-го по 34-й год с ББК на Рыблаг ушло более двухсот тысяч эзков. Рыблаг разрастался на север.

ББК сползал на юг; их разделяла узкая полоса с маленьким Череповецким лагерем.

С началом строительства канала Волга-Москва — перекачка стала двухфазной: ББК — Рыблаг, Рыблаг — Москанал. К концу 34-го Москанал всосал четыреста тысяч эков, но не надолго; в 35-м он был досрочно построен, Москва вернула долг Рыбинску, оставив себе несколько некрупных лагерей, самый большой — Ногинский, на двенадцать тысяч.

Рыблаг разбух до семисот тысяч, рубка стала великой. Тогда-то срочно заложили Шекснинскую ГЭС. Для перекачки лесорубов и землекопов на лагпунктах создавались школы бетонщиков-арматурщиков, мостовщиков-камнетесов, электросварщиков. Следом за Шекснинской заложили ГЭС Рыбинскую и Угличскую. На 600-километровых трассах от Рыбинска до Волхова закипели земляные работы. К 1939 году Рыблаг опутал сеть участков и лагпунктов Рыбинскую, Ярославскую, Угличскую и Череповецкую области, получил соответствующее его величии название — Волголаг и подбавляющего начальника, еще не толстого, но плотного, приземистого полковника Копаяева.

С виду флегматичный, в действительности мало сказать пламенный — огненный чекист. Он до тонкостей владел стратегией великих строек. Нормы выработки росли беспрерывно — чем больше ослабевали ээки, тем стремительней росли нормы. Миллионный контингент. Голод, усилившийся с началом финской войны. Комары. Малярия. Кошмар жилья. Рубка леса была мясорубкой; котлованы будущих шлюзов и русла каналов — братскими могилами. В суровую зиму 39—40-го года отдаленные лесоповальные лагпункты вымерли больше, чем наполовину. По предположениям старожилов, в ту зиму население Волголага уменьшилось на двести тысяч. Свято место пусто не бывает: Западные Украина и Белоруссия и новые республики Прибалтики пополнили убыль с лихвой. Эти, западные, падали особенно быстро: не двадцать лет, а лишь месяц-другой советской власти не успели подготовиться к рабству ни душу, ни тело. Львовские, драгобычские, хустинские, кишиневские, таллинские, рижские,

вильнюсские этапы приходили — и уходили в землю за два-три месяца, до шести — не больше.

Решение создать особый режимный лагпункт без выхода за зону созрело после того, как полковник Копаяев выслушал доклад начальника оперчекистского отдела о составе прибывших с ББК этапов. Шутка ли! Двадцать тысяч воров и более пятисот — матерые паханы. К своим он привык, а с этими — с северных Карельских лагпунктов — никакого сладу. На перестройку Рожново бросили половину бригад с Камениюков. К осени 41-го особый режимный был готов — по Копаяевскому плану.

Три квадрата колючей проволоки: сто сорок на сто сорок, сто двадцать на сто двадцать и сто на сто метров — первое, второе и предупредительное ограждения. Между ними — вспаханная полоса. Четыре угловые вышки, пятая — над вахтой. Крытые площадки на вышках по три на три метра, на каждой по два прожектора, по два пулемета. Два близнеца-барака по тридцать шесть метров. Вдоль стен по три этажа сплошных нар, триста шестьдесят метров на шестьсот человек. Уборная, ящик для мусора. Между уборной и бараками — свободная полоса шириной сорок метров, просматриваемая с вахты. В зону надзорсостав не входит. Сирена: беспрерывный сигнал — по баракам, прерывистый — можно выходить. После завтрака полчаса разрешается по одному подходить к вахте, до уровня предупредительного ограждения, обращаться с просьбами к начальнику и оперуполномоченному. Тяжелобольных отправляют в санчасть после тщательного осмотра на вахте, по иному поводу выйти за зону невозможно. Хлеб, вода и каша, кипяченая вода завозятся с лагпункта Каменюки и оставляются возле предупредительной зоны, лишь после этого дается прерывистый сигнал. Света никакого. Растительное масло, всплывающее в бочках с кашей, полностью снимается для освещения, достается только воровской элите. С завтраком доставляются газеты: "Правда", "Известия", "Красная Звезда" и десять экземпляров лагерной многотиражки. Никто не сомневается, что газеты немедленно пойдут на карты, но без культурно-

воспитательной работы лагерь немислим. Частично газеты идут на курево, если есть выловленная из баланды и высушенная крапива. В других случаях курят туго скрученную вату из телогреек. Большинство бросает курить.

Кто они? Ни один не имел меньше пяти судимостей. Ни один — меньше двух побегов. Все (за единственным исключением) — не меньше одного лагерного убийства. Все — воров в законе. Паханы — опытные, стойкие воров, имеющие огромное влияние на блатную шпану. Кучка — не более десятка — кумиры и законодатели воровского мира.

4-го августа 1944 года на нижних нарах расписывали пульку — две четверки играли, девятый — Федя Интеллигент — смотрел. Обменивались короткими — из одного-двух слов — фразами: обсуждали военные действия, предполагаемые сдвиги в мозгах фраеров после предстоящего вторжения в Европу и влияние этих сдвигов на послевоенную жизнь. Взыла сирена. Барак закишел, как муравейник. Не успели разобраться по нарам — прерывистый сигнал. К бараку кто-то шел.

В Седого впились несколько пар немигающих глаз.

— Как сюда попал?

— Наседка!

— Хлябал за вора?

— Пришить и баста! — это сказал тот, высокий, с изуродованным лицом и косыми бешеными глазами.

... Что сказать? Откуда я знаю, как сюда попал?

— Не хлябал. Честное слово! — ответил Борис. Почему смеются? Конечно, я же не...

Психованный идет к нарам. Там всего несколько человек. Кажется, играют. Стало тихо.

— Подбросили наседку. Пришить и баста!

— Так ли. Псих? Зачем им наседка?

— Не знаю. Все равно пришить.

— Решайте без нас. В другом бараке.

Бориса увели во второй барак. Сирена. Привезли ужин. Прошло около получаса. Возвращаются. Посадят на жопу? Или зарежут? Зачем Миша Гендлер подарил мне жизнь...

Барак набился до отказа — нары и двухметровый проход между ними. Сходку открыл Коля-Псих.

— Воры! Зарезать и баста!

Суд продолжался минуты три. На Бориса и не смотрели — будто его уже нет.

— Будет вонять в бараке. На куски и в ящик — вывезут с мусором.

— Наколют: через три дня поверка.

— Пусть колют. Беру на себя. Я припорю! — в глазах Психа заиграли радостные огоньки.

... В проходе проталкивается Федя Интеллигент. Он пробрался к углу, где сидел Борис.

— Решили? Дайте свет.

Кто-то быстро скатал вату, растер, разорвал, раздул затлевший конец. В миске запылало масло. Федя пальцем приподнял подбородок Бориса.

— Смотри в глаза. Сколько судимостей?

— Три.

— Нахтал. Эх, зелень! — Интеллигент повернулся к собранию. — Что решили?.. Ага! Поддаётся искушению, воры! Забыли воровской закон: мокрое — для самозащиты и борьбы с суками. Забыли святую истину: кто хоть раз в своих действиях уподобится суке, тот станет им в конце концов. Воры! Со времен Христа не было закона справедливей нашего, воровского. Он послан как возмездие фраерам, в искушении забывшим заповеди Христа. Он служит восстановлению попранной справедливости. Вся история человека — возмездие искушенному. Бойтесь искушения, воры! Теперь решайте заново. Я жду.

Трудно сказать, красноречие, запредельно высокое для урока, преодолело их искушение или знание, что возмездие в какой-то мере — в руках Интеллигента. Он увел полуживого Бориса в свой барак.

Федя велел Борису лечь подле играющих. Только один из них обернулся: — Вырвал? — Пулька продолжалась. Две четверки играли. Интеллигент смотрел.

После завтрака Федя Интеллигент направился к вахте. Вызвал оперуполномоченного.

— Здорово, кум! Нам подкинули фрея. Забери, начальник. А то воры его зарежут.

— Подожди. Формуляр, кажется, еще на вахте. — Опер прошел на вахту; возвращаясь трясся от смеха. — Дают, черти! Эти колонисты всегда что-нибудь учудят! Твоему фрею, Федя, записали, что он рецидивист, кличка "Одесса". Он действительно родом из Одессы-мамы, только "Одесса" первый раз бежал в 28-м году, а Седой родился в двадцать втором. Приведи его, Федя.

Вечером Бориса увезли на лагпункт Каменюки. Там переночевал. Утром за ним приехал конвой с Перебор, где ждали очередного этапа. Этап был с Красной Пресни. Погрузили на баржу. Три дня баржу болтало по волнам Рыбинского моря...

Приток Яна вливался в Мологу обширной дельтой, как многопалая кисть, располосовавшая лесной массив на множество островков. Янский лагпункт был заложен в 1936 году в семи километрах от берега. С поднятием уровня Рыбинского моря до 65-й отметки большую часть островков затопило, остались самые высокие. На одном из них третий век стоял Янский монастырь. Вода подступила к лагпункту. Заключенные прозвали лагпункт Янским монастырем. В ясную погоду остроконечный купол монастыря в раме сосен четко вырисовывался в синем небе. Здесь давно не звучали колокола. Сумасшедшие, невыполнимые нормы полнили Янский монастырь неслышимым зауспокойным звоном.

На Яну приходил авангард лесоиндустрии — первая трудовая категория. И выполнялся план: стране — лес, земле — кости, слабокмандам — фитили-четвертокатегорники.

... Бугор, Петро Прилипко, ссученный вор, в чью бригаду попал Борис, не расставался с дубовым дрыном.

Дрын то и дело вздымался над головой кого-то из бригады. — "Молчать, не то будет активровка!" "Подтянись, не то будет активровка!" "Шевелись, не то будет активровка!"

В первый же день работы Седой едва не узнал вес дубового дрына. По дороге к лесному участку, где работала бригада, —

два часа ходу — ему разъяснили нормы. На человека: сосна — двенадцать кубов, ель — девять, осина — шесть. Свалить ствол, обрубив сучья, раскряжевать его и уложить в штабель. На гарантийную пайку — пятьсот пятьдесят грамм — нужно дать семьдесят пять процентов, о большем никто не мечтает даже с туфтой.

... Борис выбрал толстую ель, зарубил, как делали другие, и вгрызся в ствол лучковой пилой. Лучок углубился на два полотна и ни с места — ни сдвинуть, ни вытащить. Он с полчаса стоял на коленях, будто молясь, в слезах от напряжения и досады. Крик за спиной:

— Шевелись, не то будет активровка!

Схваченная смолой пила не шевелилась. Целься Петро по спине — проломил бы. Бугор целился по кумполу, и Борис сумел увернуться, дрын расплющил еловую кору. Петро замахнулся вторично, но его обхватили подоспевшие сзади работники...

... Петро бешено метался от одного к другому. Бригада не поднималась. Четверо свернулись, огретые дрыном. Вмешался конвоир:

— Будя, Петро! Угровишь всю бригаду...

Бригада перешла на штрафной паек. Силы иссякали к концу пути на работу. Не люди — тени шевелились между стволами, нелепо шатаясь, поднимались и падали.

Лил дождь. Набухшие бушлаты тянули к земле...

...Выживших комиссовали; четвертая категория — дистрофия. Перевели в слабокманду.

Два конца свисают с верхних нар к нижним. Два — с потолка к верхним. В них продевается отшлифованная кордной ниткой дранка, на нее набираются петли. Дистрофики вяжут сети. Нормы нет. Есть премблюдю: за пять тысяч колечек — пятнадцатиграммовый блинчик. Сосед по нарам слева — Володя Ходяков, двадцати восьми лет, потомственный сибирский лесоруб. В слабокманде он четвертый месяц, еще не пожелтел, быть может, переведут в ОП.* Сосед справа — Митя

* Барак оздоровительной профилактики.

Белоусов, двадцати пяти лет, сын сапожника. Вяжет сети второй год, давно пожелтел, давно чокнулся. Ни с кем не разговаривает, не выползает из барака даже на помойку. Лихорадочно резкими движениями вяжет и каждый день получает блинчик. Уже шесть тысяч... семь... — Митя не может остановиться, все спят, он вяжет в потемках.

Борис вяжет второй месяц — полтыщи, тысячу, остальное время он думает, каждый раз про одно и то же: ... Война скоро кончится. Амнистия будет, но не всем. Увеличат пайку. Может быть, он не загнется, выйдет... Ему будет тридцать три года... Уедет в Сибирь, в деревню... Сибирячки добрые, жалостливые... Лет под пятьдесят — другая не пойдет... Что-нибудь полегче: сторожем... пастухом. Теплая изба... Много, много хлеба... Подовый, из русской печи... Высокий и нездороватый... С румяной коркой... Много, много хлеба!

— Брось, Борька! Хлебом бредить — на помойку поползешь. Это говорит ему Володя; оказывается, он думал вслух.. Борис будто пробуждается, поворачивает голову:

— Не поползу.

— Вяжи лучше. — У Володи дрожит голос. Он признается — Я пополз. На второй неделе. Дополз до бурьяна, упал и заплакал. Вернулся.

Борис вяжет. Лениво, вяло... Много, много... из русской печи... с румяной коркой...

Седого перевели в ОП, когда смерть подступила в упор. В тот день загнулся Белоусов — чокнутый Митька. Его не мучили рези в животе, не раздирал пелагрический понос. Умер мгновенно. Борису стало страшно. Он скосил опущенные глаза: кончик носа показался желтым. Пелагриков не переводят. Конец! Но руки прозрачные, с восковой белизной, но не желтые. Не хочу! Не желтые! Не желтые! Не желтые! ...Вызвали, повели в барак оздоровительной профилактики. О, счастье!

Задача ОП — поправить дистрофика до второй категории. На это отводится две недели. Восемьсот граммов хлеба, два раза в день баланда и каша, блинчик, пятнадцать грамм сахара, отдых и свежий воздух. Если есть надежда на первую

категорию, срок продлевается до месяца. Но этого редко кто хочет. Выписали Седого через месяц.

... Володя Худяков, оказавшись с ним в одной бригаде, предложил работать на пару.

— Не нужно, Володя, ты из-за меня перейдешь на гарантийку, а то и на штрафную, — вяло возразил Борис.

— Не дрейфь, дадим сто процентов.

Они начали работать вместе. Двуручная пила не скребла, как лучок, а звенела, пела.

— Отведи правую ногу, — учил Володя, — еще. Когда я тяну, не толкай. Штабель накатывали, не поднимая тяжелых баланов. Борис уставал, но не до изнеможения.

— Месяца три протянем, — даешь семьсот грамм! — подытожил Володя...

"ИЗМЕНЧИВОСТЬ"

(стихи поэтов Англии и Америки в переводах
Георгия Бена)

Книга выходит в издательстве "Время и мы"

В ней вы сможете прочесть стихи многих широко известных и малоизвестных поэтов Англии и Америки с XVI века до наших дней:

Байрона, Шелли, Китса, Киплинга, Суинберна, Томаса Гарди, Джона Мейсфилда, Эдгара По, Ральфа Уолдо Эмерсона, Вэчела Линдсея, Ленгстона Хьюза, Огдена Нэша и многих других.

Стоимость книги в Израиле: при заказе по почте — 17 лир, в магазине — 22 лиры. Стоимость за границей — 2 доллара.

Заказы принимаются по адресу:

**Издательство "Время и мы", ул.Нахмани, 62/9,
Тель-Авив, Израиль**

или:

Г. Бен, ул. Эйлат, 56/47, Холон, Израиль.

К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

Леонид ГИРШОВИЧ

*Подлым выстрелом в живот
Пушкин был смертельно ранен.
Д. Благой*



СМЕРТЬ ВЫДАЕТ СЕБЯ

(опыт в детективном жанре)

Петр Иванович Фыфкин — большая умница, хоть и провинциал — стал жертвой самого детского розыгрыша, какой только можно себе вообразить. Командированный во Францию, где, к тому времени уже практиковалось городское радиовещание, он поверил одному шутнику, сказавшему ему перед отъездом, что лучший способ завоевать сердца французов — это ежедневно становиться по струнке при звуках Марсельезы, с которой в шесть утра начинаются и в час ночи заканчиваются передачи парижского радио. Превозмогая холод и желание спать, Петр Иванович следовал этому доброму совету на протяжении всей своей французской гастроли, а чтобы учтивость его была по возможности полнее оценена окружающими, поворачивал рукоятку громкости до отказа, чем в короткий срок разогнал остальных постояльцев пансиона. Впрочем, хозяйка так и не решилась выговорить ему и лишь молча вздыхала от мысли, во сколько ей обойдется этот священный порыв иностранца.

Когда в конце концов розыгрыш был обнаружен, Петр Иванович повел себя еще разумней — вознамерился драться

на кавалерийских шпагах со своим обидчиком, и неизвестно, чем бы все еще закончилось, если б вызов его не был обманым путем перехвачен Дарьей Ильиничной, маленькой каштанкой (можно и "шатенкой") с черной родинкой в форме капельки, удивительно точно заполнявшей выемку над верхней губой, отчего ее миленький ротик напоминал райское яблочко, свисавшее на черенке с веточки носа. Очень возможно, что Дарья Ильинична охотно бы предоставила супруга его собственной судьбе, не будь противником его не кто иной, как Савва Олегыч Мискин, редактор "Стража", где по пятницам печатались ее "Советы садоводу". С редактором у нее была многолетняя связь сугубо полемического характера, родившаяся из жарких споров по поводу явления, называемого оккультизмом. Мискин, люто ненавидевший всякую чертовщину, видел в оккультизме попытку "проникнуть в святую храмину с черного хода", Дарья же Ильинична держалась взглядов диаметрально противоположных, деля свое сердце между древними магами востока и современными спиритами запада.

— Недопустимы и кощунственны, сударыня, те средства, которыми ваши друзья пользуются в надежде приобщиться к царству вечной жизни, — говорил благочестивый Савва Олегыч.

— О! — Дарья Ильинична вспыхивала словно магний. — В прошлую нашу встречу я вам сказала, что изнанкой вашего пиетизма является ханжество — так вот, мой милый, теперь я скажу, что изнанка его — трусость. Вас пугает бездна, потому вы отворачиваете взор свой от обрыва, на краю которого стои те и вы, и я — и все все.

— Смешно, — отвечал редактор, — а главное нелепо — ведь пиетизм есть сугубо мистическое направление ума. Что до ваших колдунов, то они на поверку все как один оказываются шарлатанами. Самый суеверный из средневековых судов, и тот, наверное, не стал бы обвинять их в сделке с дьяволом, разве что — в мелком жульничестве.

— О, Боже, что за человек! А полет, который в минуту совершила вокруг земли баронесса Безансон, покуда бременная оболочка ее пребывала в кресле. Пролетая над Японией,

она видела тайфун, который назавтра стер с лица земли остров Уруп.

— Вы, как женщина, прекрасно знаете, как легко стирается с лица то, что не составляет его принадлежность. Не было такого острова.

— О, человек!!! А Листа, может быть, тоже не было?

— А что Лист?

— Как что? Знаменитый Магнус Дей ровно в полдень выбежал из своего дома и бросился на городскую площадь с криком: "Я вижу, как плавно восходит новая звезда на небосводе, ярчайшая из всех". Все запрокинули головы и, конечно, не увидев ничего, стали смеяться. Это случилось 12-го июля 1811 года в Райдинге. В эту минуту родился Ференц Лист.

— Знаете что, голубушка Дарья Ильинична, что касается предсказаний — я поверю в них не раньше, чем с а м о л ч н о убежусь в том, что хоть одно из них сбылось — и с точностью до дня, до часа...

— А до минуты не хотите?

— Хочу!

Понятно, что послать на поединок с мужем т а к о г о человека — в спорах с которым оттачивалось трансцендентное ее мышление и проходили лучшие часы ее жизни, Дарья Ильинична не могла никак. Очевидно, и Савва Олегыч дорожил близостью с хозяйкой райского яблочка, раз не отказался от ее "Советов садоводу" даже после того, как у одного козловчанина засохли один за другим все пятьсот яблоневых саженцев. "Не денег жалко, — писал козловчанин, — а жалко, что в душу человеку наплевали, который поверил вам, вот так," — и над самой подписью что-то желтело, уже подсохшее, но все равно до того противное и мерзкое, что Савва Олегыч сморщился, словно отведал фруктов из садов своих подписчиков. Подпись же была: Иван Мичурин.

Кстати о фамилиях. Своей фамилией Дарья Ильинична тяготилась ужасно. Всякий раз, когда ее кому-то представляли ("Милостивый государь, позвольте... госпожа Фыфкина") новый знакомец обязательно осведомлялся: "уж не родственница ли нашему прославленному пейзажисту?" —

тем самым допуская обидную для третьего лица — им обычно оказывался хозяин дома — мысль, что у того — ж у б ш о ш в и ш т о м. Больше в этот дом Дарью Ильиничну уже не приглашали.

— Сменил бы хоть фамилию, Петь, — обвивала она по ночам — словно душистый горошек водосточную трубу — тонюсеньким голосочком мощнейший, обхвата в три, мужнин храп. Бедняжку не звали больше ни на один спиритический сеанс, если не считать одного дома, где хозяин лишился дара речи еще лет двадцать назад, будучи поднят — одною лишь силой мысли знаменитого отечественного медиума-самородка Куцеватого — на воздух, прижат к потолку и продержан в таком положении до самых петухов.

— Не сменю, не ной, ни у кого больше такой нету, — отвечал жене Петр Иваныч сквозь сон, утыкаясь ликом в подушку и подкладывая себе под щеку нос. Дарья Ильинична слушала — уж в который раз — этот поглощаемый подушкой голос: му-му-му, и — опять же в который раз — говорила себе: "Тиран, душитель свободы... Бенкендорф..."

— Как! Как! — восклицал Савва Олегыч, обращаясь к Дарье Ильиничне, которая пробежала глазами, прежде, чем окончательно передать в редакторские руки свои "Советы вредителя", как следовало бы переименовать эти фантастические пасквили на тему садоводства, в то время как Петр Иваныч, сопровождавший жену исключительно на предмет покупки на обратном пути заграничной пелеринки "Saute dans le bateau", то есть "прыгай в лодку", тихонько скучал себе в уголку. Между тем Савва Олегыч, обрушив на свою оппонентку с дюжину трассирующих "как", откинувшись на спинку стула, и, утерев батистовым платком мельчайший лобный бисер, сказал:

— Как, вы не читали сегодняшнего номера "Стража?"

— Разве вы не знаете, что я читаю только пятничного "Стража", да и то лишь м о й раздел. В остальном же я предпочитаю "Нил", "Оттуда" и "Детей Царя Небесного".

Отвечая так, Дарья Ильинична предполагала, что Мискин затевает обычную игру, за которой вот-вот последует жаркий

спор двух, как мысленно она выражалась, "истребительных натур". Каково же было ее удивление, когда Савва Олегыч торжественно проговорил:

— Отныне, дорогая моя Дарья Ильинична, вы сможете читать не только пятничного "Стража", но и субботнего, и воскресного, и понедельничного, и вторничного, и — нет, по средам мы не выходим — поелику газета наша меняет свое направление и берет — прошу вашего внимания, сударыня — курс на остров... Уруп!

Дарья Ильинична опустила на стул, бледнея и тоже покрываясь испариной.

— Газету... (голосом, которым иная воскликнула бы: "Воды!", а иной: "Вашу руку, я ранен"...) где читать?

— Не трудитесь, я сам прочту. Внемлите же гласу обращенного.

"Задолго предугаданная трагедия.

Вчерашние газеты, в том числе и "Страж", уже сообщали о трагической смерти г.Пешковича, без сомнения первой скрипки нашего города, замечательного виртуоза и тонкого интерпретатора в духе новейшей романтической школы. Однако общественности предстоят еще большие потрясения в связи с нашим решением предать гласности тот факт, что смерть артиста, наступившая во время публичного исполнения им рапсодии "Пушкин" для скрипки соло, соч. г. Турчака, еще месяц назад была предречена, причем с точностью до одной минуты, г. Загвоздкиным, который тогда же под большим секретом поведал о своем печальном провидении редактору "Стража" г. Мискину. И так, со следующей недели читайте в нашей газете серию очерков этого выдающегося предсказателя под общим их названием "Смерть выдает себя". — Ну, что скажете?

Дальше случилось то, чего Мискин менее всего ждал. Петр Иванович Фыфкин, предварительно как-то странно крякнув в своем уголку, вдруг весьма вызывающим тоном проговорил:

— Я надеюсь, что это шутка, милостивый государь? — При этом он двинулся в направлении редактора с таким свирепым видом, что того охватило чувство безотчетного страха.

— Нет, многоуважаемый Петр Иванович, никак нет, — ответил он тем не менее не без запальчивости.

— Вы уверены, что это не шутка?

— Совершенно-с.

Пауза.

— В таком случае, — сказал Петр Иванович, — история эта относится к разряду тех, за расследование которых мне платят жалование, — ибо надо сказать, что был он, Петр Иванович Фыфкин, полицейским следователем.

— Не обессудьте, Савва Олегыч, сейчас я нахожусь при исполнении служебных обязанностей, а посему, — Петр Иванович впервые встречался с работодателем и идейным противником своей благоверной тет-а-тет, да еще не просто так, а в качестве лица должностного — а посему, — но тут он вспомнил эти проклятые марсельезы, завершившиеся досаднейшей и глупейшей выходкой с вызовом и, всплыв — в сущности против себя же, разом выпалил: — а посему обязан предупредить, что умышленное сокрытие, равно как и искажение фактов, вам известных, чревато самыми печальными для вас последствиями. Не обессудьте.

— Да помилуйте, милейший Петр Иванович (при слове "милейший" Петр Иванович поморщился: обращение неуместное), я считаю своим священным долгом оказывать посильную поддержку действиям властей, на каком бы уровне они ни предпринимались.

Петр Иванович опять поморщился, теперь уже при слове "уровень".

— Коли так, то я вам буду задавать вопросы, а вы мне отвечайте. Когда именно телепат Загвоздкин поведал вам о предстоящей смерти Пешковича?

— Ну, точно день я вам сейчас не могу... но это не трудно узнать. Это было... накануне первого аншлага, который мы затем давали чуть ли не ежедневно на протяжении целого месяца... ну, по случаю готовящегося музыкального вечера, ну, этого вечера. Я сейчас возьму подшивку и проверю.

— Не трудитесь, я сам проверю. Почему в вашей памяти

связываются эти два события — пророчество Загвоздкина и первый аншлаг, какая между ними связь?

— Самая прямая. Покойный Пешкович принес в редакцию программу концерта, которая, по его желанию, начиная со следующего дня, должна была регулярно печататься в нашей газете... он это делал уже не впервые, он всегда отличался некоторой назойливостью по части рекламы... в конце концов это, возможно, имело смысл.

— Простите, Савва Олегыч, мы отвлеклись, что же телепат?

— Ах да, господин Загвоздкин в это время находился в моем кабинете и тогда же вынес свой ужасный приговор.

— Так значит, эти двое господ совершенно случайно встретились друг с другом в присутствии третьего господина — я разумею господина Мискина?

— Ну, если вам угодно...

— При этом какое дело привело Пешковича к этому третьему господину, понятно, а вот что же было угодно телепату от него? Насколько я помню, ваше увлечение сверхчувственными явлениями всегда носили негативный характер. Или, может, Савва Олегыч, это был ваш старый знакомый, который забрел, так сказать, на огонек, случайно?

— Нет, нет, господина Загвоздкина я раньше не знал, это была первая наша встреча, если не считать, что я уже успел к тому времени ознакомиться с материалом, предложенным им нашей газете.

— Материалом метафизического свойства, я так понимаю?

— Да, совершенно верно.

— Но на что же он мог надеяться, зная, что "Страж" держится направления, при котором совершенно исключены такого рода публикации? На то есть "Нил", "Дети Царя Небесного", "Оттуда".

— Видите ли, существует нечто вроде корпорации, точнее профессионального союза людей, пишущих на подобные темы и сотрудничающих в названных изданиях. Перефразируя известную поговорку, замечу, что легче верблюдице пролезть в угольное ушко, чем новичку урвать себе местечко на страницах "Нила", или "Детей". Не подлежит сомнению, что он уже побывал всюду, прежде чем, наконец, пришел ко мне.

— То есть прислал к вам, как вы выражаетесь, материал.

— Именно, который мы... который я вынужден был в силу прошлого своего мировоззрения отклонить.

— А-а, понимаю. И тогда автор сам пожаловал к вам, чтобы забрать отвергнутую статью и случаем повстречал здесь Пешковича, в котором мгновенно признал покойника, то есть покойника в скором будущем. Загвоздкин дожидается его ухода — или он отозвал вас в сторонку? — и сообщает вам о сроках преставления с пугающей точностью. Месяц проходит, оракула сбывается, ваше мировоззрение меняется в корне, отныне "Страж" всегда готов предоставить свои страницы великому прорицателю Загвоздкину. Ну, так?

— Простите, Петр Иванович, как человек мало-мальски разумный, я чувствую, что вы куда-то клоните, больше того, я даже вижу куда. Очень сожалею — мотив для убийства недостаточен.

— Поверьте моему опыту, достаточен. Впрочем, это вы говорите об убийстве, а не я. Я, сударь, — молчок, я лишь перечислил факты.

— Оставьте, Петр Иванович, я вижу, к чему вы ведете. Но, насколько мне известно, смерть наступила от закупорки венечной артерии.

— Э, батенька, да вы эскулап. Разве производилось вскрытие? Хотя, забыл — журналисты всегда торопятся с выводами.

— Хорошо. Убили, согласен. Загвоздкин убил, чтобы прославиться. Спрятался среди публики и из лука невидимой стрелой его уложил — аккурат в указанном месте.

— Вы хотите сказать — в указанное время?

— Нет, я хочу сказать в указанном месте. Загвоздкин указал место в нотах, то есть звук, взяв который, артист, как говорили римляне, станет богом.

— Бр-р-р!—Петр Иванович зафыркал, затряс головой, как кот, на которого из окна вылили ведро с водой. — Фр-р-р! Вы же пишете в своем "Страже": смерть была предсказана с точностью до минуты. А теперь вы говорите про какие-то ноты.

— Ах, Петр Иванович, в коротеньком сообщении я просто не стал вдаваться в подробности того, чему будет посвящена

огромная статья в ближайшем номере. В действительности предсказание было сделано в той форме, в какой я вам сказал. Когда Пешкович ушел — он ведь забежал на одну секунду — Загвоздкин стал листать ноты, позабытые им на моем столе, и вдруг сказал: "Через месяц, в концерте, на этой самой ноте он умрет..."

— После чего вы, разумеется, выставили его вон...

— Разумеется. Но когда это произошло на моих глазах, я испытал то же, можно сказать, что Савл на пути в Дамаск.

— Ну, ну, не кощунствуйте.

— Я и не кощунствую. Я говорю, что есть. Вообще, должен вам заметить, что я не из тех, кого легко водить за нос.

— А вы не заблуждаетесь на свой счет?

— Нисколько.

— И вы верите в пророческий дар господина Загвоздкина?

— Да, ибо никаких разумных объяснений произошедшему я найти не мог, как ни пытался. Я ведь, как и вы, вначале подумал о *mors te debit*, или — как его еще называют — змей-горынычевом яде, действие которого можно рассчитать с точностью до минуты, в зависимости от того, к чему он подмешан и какова дозировка, причем принявший его вплоть до последнего момента не будет чувствовать признаков отравления.

— Нет, для журналиста вы поразительный токсиколог, а главное — вы изрядный сердцевед. Я и в самом деле думал о "змей-горыныче". Объясните, почему это исключено, и тем самым вы снимете подозрение не только с Загвоздкина, но и с себя, ибо вы проявляете для журналиста уж слишком хорошее знание ядов, их свойств. Чувствуется, так сказать, лапа эскулапа — в конце концов, как знать, не было ли у вас своих причин желать смерти для Пешковича... (Мискин улынулся, но побледнел, что не укрылось от Петра Ивановича) ... ну, хотя бы в рекламных целях, ха-ха-ха. Ну, как я вас?

— Да, напугали, ничего не скажешь. В рекламных целях значит? Позвольте же, любезный Петр Иванович, обратить ваше внимание на одну деталь: если во всем, что касается яда, можно все заранее высчитать, то высчитать с такой же точностью, когда в концерте музыкантом будет сыграна та или

другая нота, невозможно; музыкальные темпы весьма условны, антракт, бисы... да что вы, в самом деле... Нет, нет, это исключено.

— Гм, а вы убеждены, что смерть наступила именно в этом месте, на этой самой ноте?

— Это первое, что я тут же поспешил проверить, когда вместе со всеми бросился к эстраде.

— Ну, хорошо, Савва Олегыч, обескуражили вы меня вконец, я-то начал с вами браво, а вы меня... эх, а может, и вправду ничего, закупорка венечной артерии, как вы выразились, сердечко не выдержало... Так вот, Савва Олегыч, не сердечко, — Фыфкин вдруг мгновенно переменял и тон, и выражение лица. — Этой ночью тело было эксгумировано и исследовано. Цианистый калий. Калиум цианатум, если вам так понятней. Честь имею, милостивый государь. — И взглянув на Мискина так, словно тот уже был изобличен в убийстве, Петр Иванович вышел, не закрыв за собой дверь.

— На фабрику Гвоздева! — крикнул он извозчику.

— Даша? — Петр Иванович был весьма удивлен, встретив Дарью Ильиничну в конторе фабрики, производящей фосфаты, нитраты и прочие химикаты, порог которой он только что переступил. — Ты что здесь?

Дарья Ильинична смутилась: "Я... я хотела выяснить относительно некоторых свойств толуола — ведь если использовать его в качестве подкормки для садовой земляники, то..."

— То садовой землянике придет капут, ты это хотела сказать?

— Ах, Петя...

Тут на помощь Дарье Ильиничне пришел тот, кто, очевидно, консультировал ее по этому вопросу.

— Дарья Ильинична наш давнишний и блистательный контрагент. Прямо не знаю, что бы мы делали с излишками толуола, если б не Дарья Ильинична. А вы, как я понимаю, супруг Дарьи Ильиничны?

— Совершенно верно, супруг.

— А я — Василий Васильич Загвоздкин, управляющий.

— Ах, Петя, это тот самый Василий Васильич, о котором нам рассказывал Мискин, — Дарья Ильинична несколько оправилась от шока, вызванного внезапным появлением Петра Иваныча, а главное его непривычно грозным видом. — Представляешь, столько времени знакомы, и он ни разу ни словом не обмолвился о своем волшебном даре.

— Да, душа моя, я знаю, что это тот самый Василий Васильич, потому-то я и здесь. Знаешь, Дашенька, сейчас тебе лучше оставить нас с Василием Васильичем вдвоем, у нас с ним важный разговор. Видите ли, господин Загвоздкин, помимо того, что я супруг Дарьи Ильиничны, я еще полицейский следователь, Петр Иваныч Фыфкин.

В ожидании, когда Дарья Ильинична удалится, Петр Иваныч затеял светскую беседу:

— Как здоровье вашего хозяина, господина Гвоздева?

— Неважно, совсем плохо. Три месяца, как Анисим Галактионыч не встает с постели, а недавно и пищу самостоятельно перестал принимать. Доктора уже отчаялись, говорят: нет надежды, — ответил ясновидящий, очевидно, не сознавая, что ссылка на докторский авторитет в его устах выглядит несколько странновато.

— Да, на все воля Божья, — вздохнул Петр Иваныч, как раз в этот момент за Дарьей Ильиничной закрылась дверь — между тем взгляд Фыфкина, скользнув по комнате, задержался на внушительных размеров несгораемом шкафу. — А скажите, что, кроме Анисима Галактионыча и его управляющего, еще кто-нибудь имеет доступ к особо опасным токситам?

— Что вы, исключено совершенно, — улыбнулся Загвоздкин — так, вероятно, улыбнулся бы сейф на вопрос, хорошо ли он заперт.

— Угу. Вы, Василий Васильич, как я вижу, человек с терпением и первый ни за что не спросите о цели моего прихода — или вам, провидцу, это хорошо известно и так? Впрочем, если известно, то тем хуже, тем много хуже. Так вот, смерть господина Пешковича, столь блистательно вами предсказанная, явилась результатом отравления цианистым ка-

лием — если мимика прорицателей сходна с мимикой простых смертных, то я должен сделать вывод, что вам это не известно.. Сейчас я вас покину — хочу догнать жену и извиниться перед ней — а вы подумайте об этом в свете того факта, что, кроме вас, по вашим же словам, цианистый калий взять никто не мог. Ауф видерзеен. Да, я, возможно, к вам на неделку наведаюсь в гости, так что не уезжайте никуда. Да и адресок черкните мне свой. Благодарю. А теперь — добрых снов.

— Слушай, Дарья Ильинична, — говорил Петр Иваныч Дарье Ильиничне, которую ему даже догнать не пришлось, поскольку та сама дожидалась его у дверей конторы, при этом обнаруживая некоторую взволнованность. — Как это вышло, что ты не видела, как Пешкович мертвый со стула свалился? Сколько я помню, ты же собиралась в концерт пойти и — Петр Иваныч наморщил лоб — я даже вспоминаю, что ты уходила вроде...

— Да, Петя, но дорогой у меня разболелась голова, и я воротилась. — Дарья Ильинична заволновалась пуще прежнего. До сих пор страхи ее главным образом питались тем обстоятельством, что мужу стала известна некая дискретная статейка ее дохода — но вот ей вновь пришлось солгать, ибо, если она и вернулась тогда домой, не побывав на концерте, то по причине совсем иной. Лгать же мужу она боялась и не хотела, по опыту зная, что нет такого обмана, даже если это мнимая головная боль недельной давности, который Петр Иваныч не изобличил бы каким-то одному ему известным способом. Но Петр Иваныч только спросил: "Это точно?" — и перевел разговор на другую отнюдь не более приятную тему: — "Прыжки в лодку" теперь будут производиться гвоздевскими контрагентами на его счет.

"Извинившись" таким образом перед женой, Петр Иваныч поспешил в полицейское управление, где его дождался некто Гробокопатель, сметливый малый, сослуживший ему добрую службу не в одном расследовании, хоть и числился по бумагам в кучерах — подлец не желал креститься.

— Мое почтение, Петр Иванович, чайку горяченького?

— Моисей, слушай, пойдешь в "Оттуда", "Нил" и к "Олухам"...

— К "Детям", вы хотите сказать.

— Да-да, к "Детям". Спросишь, сколько стоит дать объявление, ну, наподобие того, что давал Пешкович в "Страже". Там же купишь газет за последний месяц — скажешь: обои клеить, и проверишь, как часто печатались Пешковичевские аншлаги. Затем — пойдешь к Мискину в "Страж", попросишь — скажешь, что в интересах следствия, о котором я ему говорил — его бухгалтерские книги, — тоже за последний месяц. Проверишь, сколько получено от Пешковича за печатание его афишек. Но только Мискину не говори, на что они тебе, пусть почешется. Стой, не все. Непременно: поговори с капельдинером из Народного дома, кто в тот вечер был у Пешковича в уборной...

— В артистической с вашего-с.

— Хрен с ним. В артистической. Да стой ты, черт, стой! — вот мерзавец, — подумал Петр Иванович.

Мерзавец (он же подлец) был возвращен фыфкинским криком уже с улицы.

— Еще что-нибудь?

— Да. Чтоб Федор глаз с Загвоздкина не спускал. Загвоздкин сейчас на фабрике. Куда пойдет оттуда, с кем будет встречаться — я все хочу знать. Но, — Петр Иванович устало вздохнул — "пыхнул трубкой" — если потеряет его — вот его адрес.

— Здесь живет профессор Турчак?

— Здесья, — ответил из мрака скрипучий голос, и Петра Ивановича впустили в квартиру. — Евсей Евсеич еще не вставали, — продолжал "голос" — обладателя же его морок зашторенной, занавешенной, загардиненной обители профессора музыки ревниво оберегал от глаз вошедшего. — Как доложить?

— Гм, насчет уроков музыки... Петр Иванович Фыфкин.

— Шишкин?

— Фы-фкин! — наконец только следовательские глаза

разобрали, что обладатель несмазанных голосовых связок — старуха, настолько старая, что между подбородком и носом у нее можно было без труда продеть суковатую палку.

— Ну я же и говорю — Шишкин. Вы покамест здесь обождите. — Пока новая Наина (но старая, очень старая, разумеется) отсутствовала, Петр Иванович оглядел комнату, в которую был введен — ничего интересного: ну, диван, ну, кресло, ну, кабинетный рояль с бюстом одного из тех, кто изумлял человечество быстротой своих пробежек по клавиатуре, еще несколько лито- и фотографий по стенам, в шкафу за стеклом тусклое золото аусцугов — словом, внутренний вид башни из слоновой кости. Послышалось профессорское шарканье, и Петр Иванович увидел Турчака — в шелковом халате с белым клинышком пластрона (но без воротничка).

— Прикован старческими недугами к постели, — сказал Турчак так, словно речь была о каком-то третьем лице, но никак не о нем. — Чем могу быть полезен, милостивый государь?

— Фыфкин, с вашего позволения... Петр Иванович.

— Да-да, Петр Иванович... Ф... Ш... первая, простите, Шаляпин, или Федор?

— Федор, Федор.

— Фыфкин, значит, да-да... Нет, не припомню, старость.

— Ах, что вы, я не имею чести быть с вами знаком, но тем не менее я осмелился обратиться к вам, безусловно к одному из крупнейших, э... известнейших, э... (дело в том, что в этот момент Турчак зажег свет и у Петра Ивановича, от удивления, как это теперь говорится, челюсть отвалилась — до того поразило его кое-что, хотя со своей стороны профессор мог истолковать это произвольное движение в самом лестном для себя смысле: вот, человек смутился видом большого художника. — Э... прославленных наших, можно сказать, гордости нашей... — продолжал Петр Иванович, будто о собственном будущем вслух мечтал, тогда так в действительности это было лишь механическое ворочанье языком, позволявшее ему оправиться от изумления и соб-

раться с мыслями — э-э... человеку, чье имя будет вписано в книгу светочей российских, пред кем склоняются Берлин, Рим, Париж...

— Ах, прошу вас, я бедный провинциальный музыкант. Я, право... — а про себя Турчак решил бесповоротно: сумасшедший.

Тут Петр Иванович понял, что произошел пересол и круто сказал: "Научите меня играть на скрипке"

"Точно", - подумал Турчак и ответил так: "О, это, как вам сказать, это желание несколько несвоевременное. Ведь вам уже есть, гм... (как бы его не обидеть намеком на возраст, бешеный же) пятнадцать лет?"

— Разумеется, мне двадцать, — ответил Петр Иванович, как ему показалось, на шутку шуткой. — Разве возраст играет роль?

— Да как вам сказать, — уклончиво забормотал Турчак, пятясь по направлению к двери, что отнюдь не ускользнуло от взора Петра Ивановича, который тут же поторопился отрезать ему все пути к отступлению. — И вот еще: ведь я совсем не скрипач, вот видите, — рояль стоит... я рояля уроки даю... — лепетал бедный Турчак.

— А разве это не одно и то же?

— Помилуйте.

— Я погиб! Я погиб! — вскричал "сумасшедший" Фыфкин и без обиняков признался Турчаку, что если не научится играть на скрипке, то жена уйдет от него. — Она устраивает любительские концерты, аккомпанирует всем подряд. Это же чистая "Крейцера соната", а я на положении рогатого слушателя. Вы представить себе не... — Но Турчак так вдруг расхохотался, что "исповедь" пришлось отставить.

— Боже, какой вы наивный. А я-то, — он вынул из кармана халата белоснежный платок и поднес к глазам. — Ха-ха-ха, хе-хе-хе, я-то думал, что вы "того".

— Я уж и в самом деле "того".

— Ах, как вы меня... Поверьте мне, поверьте мне, старику, что жены бросали даже самых великих артистов, — он вдруг стал серьезным и даже немного печальным. — Нет, будь вы хоть Паганини, это вам не поможет... Женщин нужно

удерживать не музыкой, а... — не закончив своей мысли, он достал из шкафчика графин с двумя рюмками. — Не угодно ли?

— С удовольствием.

— Только сделайте одолжение, налейте сами, а то у меня руки по-стариковски дрожат. А скрипку из головы выкиньте. (Выпив) Вредный инструмент. Пешкович, слышали? Мой друг был — прямо во время выступления скончался. Когда-то мне скрипку подарил один энтузиаст, вроде вас, который думал, что на скрипке и на рояле играть — это одно и то же, а я ее Пешковичу дал — тогда еще совсем юноше — так поди знай, что она, голубушка, ко мне назад вернется. Нет, дорогой мой, скрипка (показывает на футляр) — это штука жизнеопасная.

Уже собираясь уходить, Петр Иванович еще раз взглянул на предмет, столь поразивший его в первый миг. Это была фотография молодой дамы, так сказать, приятной наружности.

— Моя покойная жена, — сказал Турчак, проследивший направление взгляда своего гостя. — Клавдия Олеговна.

— Угу, — Петр Иванович кивнул, дескать: а вот моя еще жива.

Выходя на улицу, он напевал какой-то мотивчик, слова в нем были: "Покойная Клавдия Олеговна Турчак — тра-та-та."

Наутро у Фыфкина в его кабинете состоялся любопытный разговор в Гробокопателем, в начале которого Петр Иванович еще баловался чайком, а под конец — ох, Петр Иванович...

— Ох, Петр Иванович, не знаю даже, с чего начинать, совершенно потрясающие новости. Ну, как вам это понравится, если я скажу, что Мискин был для Пешковича чем-то вроде дойной коровы. Но погодите, я по порядку. Сперва я побывал в "Ниле", "Оттуда" и у "Остолопов" и узнал, что объявление, как у Пешковича, стоит 25 копеек за слово, не считая косенько заштрихованной рамочки. Помножьте это на пятьдесят — у него пятьдесят два слова, считайте:

"Зал Народного Дома. 13 апреля.
Концерт!!!

Всего в двух отделениях!!!

г.Пешкович при участии г-жи Вусглаз (фортепиано)

исполнит: Полонез Огинского, Бурлеск Копытмана, Танец Антильских девушек из балета Верстовского "Ромео и Юлия", Первую часть концерта Ридинга, и в заключение "Героическую рапсодию" для скрипки соло "Пушкин" Евс. Турчака.

В буфете свежая икра .

— Но я уж для ровного счета на пятьдесят — выходит 12.50. В каждой газете он, значит, дал по два объявления, первое — дней этак за десять до концерта, второе — за три-пять.. Итого: 50 рублей, ничего, да? Теперь, в "Страже" он печатал свои афишки целый месяц. Нужды в этом, сами понимаете — одно баловство. Обошлось это ему в... страшно выговорить. Но в бухгалтерской книге "Стража" даже грош не значит, им уплаченный. Следственно: либо Мискин по дружбе ему все бесплатно печатал — но опять-таки, можно удружать, если в этом нужда имеется, но тут же явное безобразничанье — либо... Я не знаю, как это меня угораздило, но, думаю: дай-ка схожу к Раскину от вашего имени (Раскин — банковский служащий, за небольшую мзду разглашавший полиции тайны вкладов). И что вы думаете? Ре-гу-ляр-но со счета "Стража" на счет Пешковича начислялись приличные такие суммки. Ну, чем пахнет? По мне так — шантажом...

Звонок телефона. "Моисей, я занят!" — только и успевает крикнуть Петр Иванович.

— Кучер следователя Фыфкина слушает. Ах, Савва Олега... (Гробокопатель подает знак рукой, мол, Петр Иванович, что делаем?) ... Приехать к нам? Поговорить с Петром Ивановичем? (Фыфкин энергически кивает головой) Да, конечно, приезжайте. Петр Иванович как раз здесь. Здравия желаю-с.

— Что он сказал?

— Сказал, что хочет вас видеть. По делу, не терпящему отлагательств.

— И что, он скоро будет?

— С минуты на минуту.

— Интересно, Моисей, очень интересно. Наверное, переполошился из-за проверки, что ты учинил в его бухгалтерии. Как он вел себя с тобой?

— Очень покладист. "Раз, — говорит, — Петру Ивановичу нужно, то смотрите, если еще что нужно, так скажите".

— Бойтся, — сказал Петр Иванович, потирая руки, словно перед ним стоял не стакан горячего чаю — пятый по счету — а котел, в котором на том свете будут варить Савву Олега Мискина. — Ничего, ничего, я ему, голубчику, эту "Марсельезу"... да, так что ты говоришь, шантаж?

— Похоже. Помните, Янычарова покойника, который знал, что хозяин у него в руках? Какие фортеля он с ним выделывал, властью своей упиваясь, а?

— Янычаров? Не хочешь же ты сказать, что Мискин убил Пешковича, как этот самый... ну, заводчик...

— Подвойский.

— Да, Подвойский Янычарова.

— Я ничего не хочу сказать. И потом вы подозреваете Загвоздкина — кстати, в завтрашнем "Страже" будет его первенка, его первая статья.

— Ах, Боже мой, я могу подозревать кого угодно. Все мои подозрения яйца выеденного не стоят, пока я не узнаю главного — как было совершено убийство. Даже если предположить, что из стула торчала отравленная заноза, он и тогда бы дух испустил, не успев скрипку поднять. Я был сегодня у Турчака...

— Турчак... чак... чак... — Гробокопатель заглянул в какую-то бумажку — Турчак, Евсей Евсеич, композитор и пианист. На правах автора пьесы с дурацким названием не вылезал из артистической. Я ведь расспросил капельдинера, как вы и хотели, и, между прочим, узнал массу вещей, пока Мискин не пришел, слушайте — кстати, он запаздывает. В артистической у Пешковича все время находился Турчак, который и взял потом его скрипку.

— Да, он мне ее показывал.

— Но Петр Иванович, с а м о е г л а в н о е, вы уж не пугайтесь: в этом деле ваша супруга замешана.

— ???

— Буквально за несколько минут до звонка Пешковичу сказали, что на подъезде его спрашивает дама. Я разыскал швейцара и тот, как характерную приметку этой дамы, назвал — только уж вы меня простите, Петр Иванович — вытекшую из носа черного цвета как бы сопельку-с — ну, такое родимое пятно, или мушка, что ли... стрелочкой.

Гробокопатель очень почтительно умолк. Фыфкин тоже молчал. Наконец спросил:

— О чем они говорили?

— Не могу знать.

Тем временем — явление антихриста народу — так по крайней мере мог бы решить Савва Олегыч, в этот миг отворивший дверь следовательского кабинета, если б только вздумал выражение лица Петра Ивановича отнести на свой счет. Но Савва Олегыч был далек от этой мысли.

— Петр Иванович, у меня новости, которые вас не могут...

— Что, собираетесь напечатать поименный список лиц, обреченных смерти в ближайшие две недели? — сказали губы Петра Ивановича, тогда как сам он оставался совершенно неподвижен, словно уже успел просмотреть этот список и обнаружить там собственное имя.

— Нет, напротив. Загвоздкину отказано. Мы его не печатаем. Поразительная догадка — кстати, вы могли бы все же извиниться за вчерашнее вторжение вашего... кучера — но я прощаю — догадка слишком поразительна.

— Уж не стало ли вам известно, каким образом был убит Пешкович? — все тем же упавшим голосом произнес Петр Иванович.

— Этого я не могу сказать, это я предоставляю решать вам. Однако — вы слушаете меня? (мертвенное "угу") — то, что я вам рассказывал прежде — как Пешкович позвонил у меня ноты турчаковской рапсодии, а Загвоздкин принялся их листать...

— Это все ложь, вы хотите сказать?

— Милостивый государь! Говоря так, вы принимаете на себя определенные обязательства, — ответил с достоинством, хоть и не без легкого замешательства, Савва Оле-

гыч. — Я не лгал, я ошибался, а это разные вещи, и едва только... да и вообще, как вы со мной разговариваете! Почему вы не предлагаете мне стул, я с вашим работником был более любезен...

— Простите, я не здоров, — сказал Петр Иванович, выходя из оцепенения. — Простите, Бога ради.

— Так значит, — продолжал Мискин, когда под ним появился стул, а перед ним — примирительно — стакан чаю, — едва только я понял, что действительность и мое изложение не совсем соответствуют одно другому, я тут же поспешил к вам, чтобы рассеять то заблуждение, в которое невольно вас ввел. Дело заключается в том, что Пешкович никаких нот в редакции не забывал. Эти ноты, уже после его ухода, были положены на мой стол Загвоздкиным.

— Объясните...

— Все очень просто. Рукописный экземпляр. Списан с оригинала специально для предстоящего концерта. Потеряв ноты, Пешкович должен был хватиться их в тот же день и пуститься на розыски. Ведь куда проще найти ноты, или во всяком случае попытаться это сделать, чем заново брать-ся за их переписку.

— Почем знать, может он их искал?

— И не вспомнил, что был в "Страже" в тот день. Мало вероятно.

— Но вы же сами про них позабыли.

— Это разные вещи. Мне-то они были ни к чему. К тому же — и это лишний довод в пользу моей догадки — ноты, позабытые, или, точнее, подсунутые мне, не были размечены, как это обычно делают музыканты, разучивая произведение.

— Ну, это, наверное, не всегда делается, — возразил Петр Иванович, все более оживляясь.

— Гм.. вы, простите, когда-нибудь баловались музычкой?

— Никогда.

— А у меня покойная сестра, царствие ей небесное, бедняжка, играла на рояле, и скажу вам, что пальцовка, штрихи расставляются музыкантами непременно. А тем более у скрипачей. Скрипка — вы знаете, какой это тонкий инс-

трумент? У них же (скрипачей) все ноты перемараны. А тут совершенно девственная партия, словно ни разу ее не раскрывали.

— А где эти ноты сейчас?

— У меня с собой. Полюбуйтесь. — С этими словами Савва Олегыч протянул Фыфкину тонюсенько разлинованные листы, сплошь иссеченные нарисованными от руки черной тушью значками.

— Гм... хитер был тот, кто придумал эту штуку, — сказал Петр Иваныч, разглядывая это "финикийское письмо", в отдельных местах снабженное авторскими пояснениями, как-то: *Adagio con tristezza, animate, furioso, morendo** — это по-итальянски, кажись?

— Да, указания исполнителю в нотах всегда делаются по-итальянски. Итальянский для музыкантов это тоже, примерно, что латынь для врачей.

— Гм, но вот, как я погляжу, кириллица. Погодите, погодите, "поэт падает замертво". Я не ошибся?

— Нет, не ошиблись, совпадение действительно таинственное. Как раз на это место и показал мне Загвоздкин.

Но вместо того, чтобы издать междометие — какой-нибудь боевой клич дикарей или их же недоуменное "гм" при виде их бледнолицых братьев, что, само собой, казалось, напрашивается в данной ситуации, Петр Иваныч снова впал в оцепенение, из которого его уже начал было выводить рассказ Мискина. Помолчав, он спросил — как и прежде одними губами:

— Выходит, по-вашему, Загвоздкин где-то добыл ноты — хотя сами же вы говорили, что, скорей всего, существует лишь оригинальный экземпляр да один список с него — для исполнителя. Раздобыв ноты, значит, он по пятам ходил за Пешковичем, следом за ним явился к вам...

— Нет, он пришел первым...

— Еще лучше — рассчитал, куда тот направляется, и опередил, а, дождавшись его ухода, подложил вам ноты, ткнув пальцем в загадочную надпись, почему-то вопреки правилам

*Медленно и печально; оживляясь; неистово; замирая.

русскую. Дескать, знайте, Савва Олегыч, какого медиума теряете. И дальше совсем просто, нужно только вспрыснуть Пешковичу под кожу цианистого калию, так чтобы из пятисот человек, как раз в этот миг не спускавших глаз с бедной жертвы, никто ничего не заметил. Как он это сделал, пускай Петр Иваныч Фыфкин решает. А знаете, Савва Олегыч, что по имеющимся у нас сведениям вас не очень-то должна печалить кончина Пешковича.

Мискин, как ужаленный, вскочил со стула и, оттолкнув от себя стакан — по счастью, для стола Петра Иваныча уже пустой — крикнул своему собеседнику что-то весьма обидное.

— Ну, батенька, коли вы так считаете, — ответил Фыфкин, — то мы с вами наш разговор продолжим в другой раз. К тому же мне сейчас нездоровится... нотки-то оставьте!

После того, как Мискин катапультировался, Петр Иваныч сказал Гробокопателью:

— А ведь я не вру. Мне и впрямь нездоровится. И будет нездоровиться — тут зевесовы очеса его вспыхнули — покуда не переговорю с Дарьей Ильиничной. Но — (как бы спохватываясь) Дарья Ильинична Дарьей Ильиничной, а дел и без нее хватает. Я уже говорил, что ходил к профессору Турчаку, просил научить меня на скрипке играть — ну что ты пялишься, если я играть на ней не научусь, то этого дела я до самой смерти не кончу.

— Простите, но в таком случае вы его точно до самой смерти не кончите. И потом... Турчак же не скрипач.

— Ну, вот и он так сказал.

— Нет, Петр Иваныч, вам не играть нужно научиться, а узнать что такое — скрипка, с чем ее едят-с. Для этого я вас могу ввести к одному человеку...

— Ну, хорошо, хорошо. Я дурака сваял, согласен. По недостатку культуры. Но только слышишь, Моисей, будь я такой культурный, как ты, я никогда не узнал бы — да ты слушаешь? (хотя что-то, а Гробокопатель уж наострил ушки как мог, и это Петр Иваныч растягивал для пушщего эффекту), что покойная жена Турчака имела лицо... зна-

ешь какое: вот если редактору "Стража" Савве Олегычу Мискину, который сейчас отсюда пулей вылетел, приставить локоны, то это будет вылитая Клавдия Олеговна Турчак... Что?! О, я же идиот... это же... ты понимаешь?

— Еще бы, — Гробокопатель фамильярно подмигнул начальнику. — Савва Олегыч сказал ведь, что его сестра теперь на небесах, все и сходится — одинаковые лица, одинаковые отчества и, наконец, одинаковый адрес. Идите, выздоравливайте, Петр Иваныч, а я уже все раскопаю.

— А я, дурак, еще никак не мог понять, кого она мне напоминает — пока этого "стражника" не увидел, — говорил Петр Иваныч, влезая поочередно сперва в один, а потом в другой рукав пальто, которое Могилкопатель подавал ему так старательно, что сразу видно было: делать этого он не умеет.

Дома Петра Иваныча ожидало драматическое представление. Оно давалось Дарьей Ильиничной — истинной дочерью Евы — в предчувствии грозы, на тарелках, вилках, ножах и завершилось ее самозаточением в людской, откуда прислуга была предусмотрительно удалена еще до прихода виновника торжества. Дарья Ильинична сидела в работницкой комнатухе на сундуке и распевала — по выражению Петра Иваныча — песни без слов.

— Сделай милость, — сказал Петр Иваныч, подходя к двери — сделай небольшой антракт, — потом сможешь музицировать сколько тебе захочется. Это зловещее обещание полной свободы действий в дальнейшем, говорящее о том, что попытка нанесения мужу превентивного удара провалилась, вывело ее из первоначальной роли (а следовательно и из каморки) и вот зареванная, ослепленная всеми имевшимися в распоряжении противника осветительными приборами, бедная артистка предстала пред лицо мужа праведного и судьбы гневного.

— Известно ли тебе, Дарья, — начал он, — что сокрытие от следствия фактов, относящихся к преступному деянию, русское уголовное право рассматривает как соучастие в нем. Я имею в виду твою встречу и твой разговор с музыкантом

Пешковичем, вскоре после этого убитым. В круг моих обязанностей далее входит сообщить вам, Дарья Ильинична, что дача ложных показаний, попытки запирательства, к коим уложение безусловно относит и ссылку на головную боль, также облагается суровыми наказаниями. В сфере же гражданского законодательства все это взятое купно ведет вас по прямой дорожке к бракоразводному процессу. Ну-с?

Но перенесемся из области криминально-семейных сцен в область чистой криминалистики. С таким же нетерпением, с каким Петр Иваныч наутро торопился в полицию, чтобы поделиться с кучером Гробокопателем вырванным у жены признанием и даже одним вещественным доказательством (правда, еще не ясно было, что именно оно доказывало) — с таким же точно нетерпением и сам Гробокопатель дожидался прихода следователя, не в силах более в одиночку сносить все необычности сделанного им открытия. Поспорив немножко о том, кому начинать, ибо исключительная важность новостей позволяла каждой из сторон считать себя вправе на, так сказать, последнее слово, Петр Иваныч не выдержал и заговорил первым. Хотя, как затем выяснилось, Гробокопатель спорил совершенно напрасно: последнее слово в любом случае оставалось за ним, коль скоро ему, а не Петру Иванычу суждено было установить тождество почерков, коими писалась уже известная, но как-то выпавшая из внимания следствия записка ("адресок" Загвоздкина) и письмо, что всю дорогу от дома до места службы жгло Петру Иванычу боковой карман — и чуть-чуть сердце.

"Милостивая государыня, — писалось в этом огнеопасном послании, — многочтимая Дарья Ильинична!

Зная, сколь оскорбительной может показаться для Вас — супруги г-на Фыфкина, которого я, к сожалению, не имею чести знать, но о чьем существовании неопровержимо свидетельствует обручальное кольцо на Вашем безымянном пальце — я все же уповаю на Ваше милосердие, которому, безусловно, не составит труда преодолеть прочие Ваши добродетели ради милости, которую Вы безо всякого ущерба

для своей чести окажете умирающему — увы, не в переносном смысле, придя 13-го апреля в Народный Дом, где у дверей артистического подъезда Вас будет ждать несчастный скрипач

Валериан Пешкович.

Но самим господом Богом заклинаю Вас, приходите не раньше, чем за пять минут до моего последнего в жизни выхода на сцену, который произойдет ровно в восемь с половиною.

Сожгите, сожгите это тот час же по прочтении."

Конечно же, Дарья Ильинична ничего не сожгла и, конечно же, создалась во всем мужу, плача и кусая те две вещи, которые приличиями не возбраняется даме кусать: губы и платочек. Да, в двадцать пять минут девятого она была в назначенном месте, где, к ее великому недоумению, ее никто не дождался. Охваченная странным волнением, она разорилась на двугривенный, велев швейцару во что бы то ни стало позвать господина Пешковича. Последний, хоть и появился, но только за тем, чтобы нагругить ей и, даже не выслушав ее, с развевающимися фалдами умчался наверх, откуда уже по нем звонил колокольчик. В негодовании возвратилась Дарья Ильинична домой, и, не моргнув глазом, солгала мужу — дескать, мигрень у нее. Когда на следующее утро газеты оповестили о смерти артиста, ей, бедненькой, самой стало до смерти нехорошо, а когда день спустя Мискин рассказал о странном и сбывшемся предсказании, она, вопреки своему обыкновению, не только не поддержала разговор на столь милую ее сердцу тему, но даже не высказала своего удовлетворения по поводу того, что редактор "Стража" наконец сдался под напором одного-единственного, но неопровержимого факта: пророчество сбылось, как он того и хотел, с точностью до...

— Не считите за дерзость, если я задам вам вопрос, Петр Иванович — вы могли этого и не заметить, вы ведь не меломан-с, так сказать — вот тут, я-то, видите ли, увлекаюсь не-

много и театром, и в концерты хожу, тут сказано: "за пять минут до последнего в моей жизни выхода на сцену..."

— Да-да, он говорит о себе как об умирающем, и это не какая-нибудь метафора для пущей сопливости, а вполне конкретно: "последний выход".

— Да нет же, я не о том совсем. Здесь другое странно. Музыкант так никогда не скажет, сцена — это театральный термин, актерский. Музыкант, выступающий в концерте, сказал бы: за пять минут до моего выхода на эстраду.

— То есть, ты хочешь сказать, что письмо подложное?

— Это ясно, как простая гамма.

— В таком случае... цель у письма может быть только одна: выманить...(это слово и начальник и подчиненный произнесли хором, демонстрируя завидную слаженность в работе своих мыслительных механизмов). Да, — продолжал Петр Иванович уже в единственном числе, — зачем? И главное, почему для этих целей избрали мою жену? — Гробокопатель молчал, предпочитая, чтобы в своих семейных делах разбирался сам Фыфкин. Но Петр Иванович вновь вернулся к пункту первому: зачем?

— Людей выманивают из дому с намерением учинить над ними... нет, нет, нет, — опровергал Петр Иванович Петра же Иваныча, — здесь другое. Людей выманивают также с тем, чтобы... внимание... учинить что-либо в их отсутствие. Моисей, я, кажется, что-то начинаю понимать. Едем!

— Куда, Петр Иванович, куда вы хотите ехать?

— К твоему человеку, который расскажет мне как эта чертова скрипка устроена, ты же сам обещал.

— А-а, ну ладно, — без особого энтузиазма согласился Гробокопатель, которому стало обидно, что Фыфкин так невнимателен по отношению к нему, что даже позабыл выслушать его, Гробокопательский сюрприз. — Хорошо, только взгляните прежде на это. — Он достал газету, чье одно название уже напомнило Петру Иванычу о днях его удалого холостяцкого житья. Некогда газета эта, специализируясь на публикации всевозможных сплетен и слухов, была едва ли не причиной всех городских скандалов — ее закрыли примерно за год до женитьбы Фыфкина, после того, как

в ней появилось сообщение, что одна дама, перенесшая стриженный лишай, носит такой же парик, что и супруга губернатора.

— Ба, "Тамбовский Фигаро"! — воскликнул Петр Иванович.

— Вот здесь, извольте прочесть, — Гробокопатель отчеркнул ногтем мизинца нужное место и, покуда Фыфкин пробежал глазами заметку, сам же вслух прочитал ее: "Нам пишут, что в Перми, в тысяче верст от родных палестин, двадцати пяти лет отроду скончалась Клавдия Олеговна Турчак, жена и в прошлом ученица нашего всемирно известного земляка, пианиста и композитора Турчака. Поскольку сам г.Турчак на похоронах не присутствовал, город наш был представлен г.Пешковичем, молодым, но уже хорошо зарекомендовавшим себя скрипачом, по удивительному совпадению также оказавшимся в этих краях. Расходы по погребению принял на себя брат покойной, д-р Мискин, постоянно проживающий в Перми и пользующий там обширную клиентуру. Наша газета выражает убеждение, что скорбь г.Турчака не останется неразделенной."— В этом что-то есть, а? Трое в одной лодке, не считая собаки.

Так как лодка Джерома к тому времени уже достигла берегов России, Петр Иванович понял шутку и, рассмеявшись, спросил: "А собака — это Загвоздкин? Да, Моисей, в этом что-то есть. Изучение скрипки временно откладывается. Едем к Мискину. Моисей, ты бы мог стать сыщиком века, если б не был идиотом."

Столь своеобразная похвала, очевидно, пришлась Гробокопателю по вкусу. Во всяком случае, окрыленный успехом своих дневных и, надо думать, — принимая в расчет кипу макулатуры, в которой ему пришлось покопаться — ночных изысканий, он вдруг совершенно ошарашил Петра Ивановича тем, что догадался сличить поддельное письмо Пешковича с адресом, написанным рукой "собаки" Загвоздкина.

— Нет, вы видите, вы видите! Даже на четверть не надо быть графологом, чтобы признать полную их идентичность. Фыфкин молчал, втайне кляня себя за недогадливость.

— Нет, все равно, — сказал он, после минутного колебания, — Загвоздкин не убежит. Федя при нем?

— Неотлучно.

— Не убежит, — повторил Фыфкин. — Прежде к Мискину.

С Мискиным у Фыфкина был разговор короткий. Показав редактору пожелтевший от времени номер "Тамбовского Фигаро", а также высказав свое мнение о причинах странной благотворительности "Стража" по отношению к Пешковичу (шантаж), Фыфкин попросил Савву Олегыча "рассказать все без утайки, поскольку дело принимает серьезный оборот." — "Я ведь сразу догадался, что вы — врач", — самодовольно добавил он, наслаждаясь незавидным положением, в котором оказался "этот бреттер", — Петр Иванович забыл, что не кто другой, как он был инициатором дуэли. Мискин, видя, что дело пахнет керосином и лучшее — это сдать на милость победителя (и супруга "райского яблочка") — открыл тайну смерти своей сестры, а заодно и ту печальную роль, которую сыграли в ней Пешкович и он сам. Собственно, участие скрипача ограничивалось лишь двумя поступками, из коих ни один не подпадал под действие уложения о наказаниях: Турчак, урожденная Мискина, была им соблазнена и оплодотворена (было бы даже как-то нелепо разграничивать эти два деяния, если бы последнее — а никак не первое — не явилось причиной трагического исхода). Далее имели место — в хронологическом порядке: уход от мужа, отъезд в сопровождении Пешковича в Пермь к брату, настоятельные просьбы незадачливых любовников "сделать им аборт", наконец, удаление братом у сестры "запретного" плода и, как результат, смерть. "О, как я не хотел приниматься за это, но они умоляли меня, даже повели на спиритический сеанс, где дух нашей матери заклинал меня совершить это."

— Э, — сказали мы с Петром Ивановичем, — так вот откуда у вас эта особенная страсть к спиритизму.

Похоронив сестру, сестроубийца дал себе слово прекратить занятия медициной и остаток жизни — а оставалось немало — провести в заботах об общественной пользе. Кое-

какая недвижимость, доставшаяся ему от покойной, на которую ее бывший супруг не мог претендовать ("в силу целого ряда обстоятельств, распутывать которые вы мне позволите не распутывать") по своем превращении в движимость дала ему возможность основать то, что отныне стало делом его жизни — общественно-литературно-религиозную газету "Сторож" ("Но почему именно здесь, в этом городе?" — "Да глупая сентиментальность"). С зятем его ничего не связывало — о смерти сестры-жены он что-то наплел, тем более, что в Перми дело удалось замаять, и все было бы как было (это чтобы не сказать "прекрасно"), если бы истинный виновник "Кокочкиной" смерти вдруг, спустя уже несколько лет, не явился к редактору душевспасительной газеты и, пригрозив разоблачением, что повлекло бы, без сомнения, общественную смерть Саввы Олегыча, не потребовал бы своей доли доходов в качестве платы за молчание.

— Но вы понимаете, что у следствия есть все основания...

— О, не говорите, прошу вас, вы думаете я следствия боюсь? Я другого боюсь: я... я ведь желал его смерти, — и Мискин разразился неподдельными, так сказать.

— На Фотиевскую! — крикнул поддельный кучер настоящему, как только Петр Иваныч занял свое место в бричке, дожидавшейся его у дверей редакции.

— Постой, постой, братец, — проговорил Петр Иваныч, хватаясь за поручни, так как бричку сильно трянуло, и, обращаясь к Гробокопателю, спросил: "Зачем же нам на Фотиевскую?"

— Я думаю, что сейчас самое время побеседовать с Загвоздкиным. Против него матерьяльчик поднабрался.

— Ну и я так думаю. А что, он тоже на Фотиевской живет?

— А кто еще? — осведомился Гробокопатель, втайне дивясь на шефа, даже не удосужившегося прочитать загвоздкинскую писульку с адресом.

— Как кто? Турчак... Да, Моисей, если все так и дальше ладно будет, то к вечеру мы убийцу того-с.

— Полагаю, что им окажется не Мискин.

— Я тоже так полагаю, хотя... хотя кой-кого он все-таки убил. — И Фыфкин рассказал то, о чем нам уже известно, а во второй раз одно и то же слушать — да и пересказывать — что подогретый бифштекс есть.

— Тпррр, — затормозил извозчик. — Приехали, барин.

— Да они и впрямь соседи, — проговорил Петр Иваныч, прыгивая с подножки. — Супротив друг дружки живут.

Но не успел он сделать и двух шагов в направлении нужного ему крыльца (Загвоздкин жил в одноэтажном деревянном домике с крылечком, изукрашенным неизвестным народным умельцем — мастером деревянных петушков) как из-под ступенек выбежала какая-то человеческая бессмыслица в долгополой шинели и котелке (!!!), который, впрочем, тут же был почтительно ею снят с головы. Низко кланясь — обычно после этого следовало: "Па-а-дайте жертве японского милитаризма..." — ряженный забалаболкал: "Ваше благородие, Петр Иваныч, три дня не емши, не пимши и, простите, в отхожем месте не бывамши. Дайте передышку".

— Ничего, Федя. Столько терпел, потерпи еще маленько. Лучше скажи, как подопечный?

— Ничего, ваше благородие, человек смирный, домосед, можно сказать, только раз в гости сходил к соседу, — шпик-Федя показал на турчаковский дом.

— Угу. Ну, сейчас, может, брать будем.

С этими словами Петр Иваныч взошел на крылечко и позвонил в колокольчик. Дверь открылась.

— Ах, это вы, — сказал человек с изможденным лицом и лихорадочно горящим взором, сходство его с Раскольниковым даже несколько смутило Петра Иваныча, который с большим трудом теперь узнавал в нем управляющего фабрикой по производству химикалиев.

— Пригласите пройти в комнаты, господин Загвоздкин, или вам угодно разговаривать через порог?

— Прошу, — сказал Загвоздкин, посторонившись и давая Фыфкину пройти.

— О, теперь я вижу, что имею дело с настоящим волшебником, — усмехнулся Петр Иваныч, оглядываясь на стены, сплошь завешанные какими-то атласами и знаками явно

кабалистического характера. — Должно быть, общение с духами составляет основное занятие вашей жизни, равно как и смысл ее? — Загвоздкин молчал. — Да, — продолжал гость в том же насмешливом тоне, — мысль, что я в какой-то мере перебежал вам дорогу, очень угнетает меня — позволите сесть? — и я оправдываю себя лишь тем, что вы сами виноваты — у меня есть спички, пожалуйста — вступив на путь порочный и от ваших изысканий весьма далекий, я имею в виду подложное письмо, которое вы от имени Пешковича послали моей жене.

— О, Боже мой, это чистая случайность! Откуда я мог знать, что это ваша жена? Дарья Ильинична — первая попавшаяся женщина, которая пришла мне на ум.

— Обидно слышать, что женился на первой попавшейся женщине... И потом эта выходка с нотами, которые вы подсунули редактору "Стража", украв их у вашего всемирно известного соседа Турчака. "Поэт падает, сраженный насмерть" — так кажется? Нет, не перебивайте, у вас еще будет время сказать все, что вы хотите, не очень много, правда. Кстати, я повторяю, я действительно очень сожалею, что ваш очерк "Смерть выдает себя" так и не будет напечатан. Меня, как криминалиста, эта тема не может не волновать. Только скажите, как она выдает себя, череп ли начинает просвечивать сквозь кожу, или, как уверял меня один расстратчик, ногти зеленою прорастают? Да ладно, это все глупости. Собственно я к вам, чтобы вас арестовать. Оснований для этого более чем достаточно. О главном-то, надеюсь, помните? — Петр Иванов понизил голос до доверительного шепота. — Цианистый калий. Ну, голубчик, собирайтесь. Карета подана.

— Но у вас нет доказательств.

— Покамест еще имеются некоторые пробелы, но в общем ваша песенка спета. А мелочи, ну так о них не беспокойтесь, на новом месте у нас с вами и разговор пойдет по-новому, глядишь, вы что-нибудь и объясните.

— Нет! Нет! Я ни в чем не виноват, я только хотел...

— Знаю, голубчик, прославиться.

— Хорошо, я вам все скажу, только не арестовывайте

меня... — и вот еще один неподдельный водопад — со вздрагиванием плеч, ломанием суставов и т.д.

— Ну, — сказал Петр Иванов, — у меня мало времени, мне еще предстоит два визита. Итак, кратко и связно. С того момента, как вы украли ноты, предыстория же меня мало интересует.

— Я не крал...

— Нет, тогда как...

Открывая наружную дверь, Петр Иванов чуть не сбил с ног Федьку, стоявшего на крыльце и деловито бряцавшего наручниками в надежде вот-вот их употребить.

— Федя, — сказал Петр Иванов, — как ни обидно, но тебе придется потерпеть еще немного. Можешь пока провести время в обществе этого господина, — он указал на маячившую в глубине фигуру Загвоздкина. — Попьете чайку, потолкуете — чайком уж вы моего человека попотчуете, хорошо? А то он тут, бедняга, два дня под вашими окнами околачивался — и чтобы никаких сношений с внешним миром не было. Домашний арест.

— Слушаюсь, ваше благородие. Только мне бы сейчас не чайку, а по...ть.

— Ну, давай, иди про...сь, а мы его пока сами покараулим, — сказал Петр Иванов без тени улыбки.

— Ну, вези меня теперь к своему токарю-пекарю, скрипичному знахарю.

— Это бедный человек, живет в еврейском квартале — эй, там, на козлах, на Гвардейскую улицу! — кормится тем, что играет на свадьбах.

— Гм, эти мне кормящиеся. Словом, Моисей, от твоего человека теперь зависит исход дела. Он должен объяснить нам, как это произошло. Знаешь, что мне Загвоздкин рассказал...

В жизни все должно быть по справедливости. О чем-то мы узнали раньше Гробокопателя, присутствуя при разговоре Петра Иваныча с Саввой Олегычем, покуда тот, бедняга,

томился в пролетке, теперь же пусть он возьмет реванш, а мы потерпим.

Клезмер — это был первый клезмер города — принял Фыфкина и его помощника по-королевски, предложив вошедшим одну табуретку на двоих, вероятно, предполагалось, что оба они бросятся к ней взапуски.

— Я бедный человек, у меня только один табуретк, — сказал он в свое оправдание. — Что господам угодно заказать, весь наш клезмерский оркестр, или скрипача-соло?

— Соло, — сказал Фыфкин, — я хочу, чтобы вот это вы сыграли сегодня одному человеку, — он протянул музыканту ноты — все ту же балладу о Пушкине.

— Э-э, — пропел клезмер, — так это же по нотам...

— А разве вы по нотам не играете? — спросил Фыфкин, хмурясь и, как Партос, кусая ус.

— Отчего же не играю? Прекрасно даже играю, только... это обойдется вдвое дороже.

— Реб Фишл, дер гой ис фин полиције*, — подал голос Гробокопатель.

— Нэбох, их бин блинд, их зей ништ алейн!** Да тут еще не по печатному, а нацарапал кто-то, как курица лапой. Это тоже будет стоить дополнительных денег.

— Слушайте, господин скрипач, — сказал Фыфкин, выходя из себя, — мне говорили, что вы бедный человек...

— Очень, очень бедный.

— Так вы рискуете стать еще беднее...

— Невозможно.

Пока длилось это препирательство между русским законом и еврейской музой, Гробокопатель снял со стены скрипку и принялся ее разглядывать.

— Реб Фишл, почему она у вас такая пыльная?

— Где же пыльная, где же пыльная, это же калифониум.

— А что это? — простодушно спросил Петр Иваныч, так же заинтересовавшийся инструментом и сделавший знак, что согласен на все условия скрипача по найму, после чего последний с профессиональной словоохотливостью объяснил, что

* — Реб Фишл, этот гой из полиции.

** — Несчастный, что я слепой и сам не вижу?

такое "калифониум", каковы его свойства и назначение. Выслушав высококвалифицированные объяснения клезмера, Фыфкин с любопытством ущипнул струну, чем вызвал особое неудовольствие хозяина.

— Вечное несчастье, каждый, кто видит скрипку, так и норовит подергать ее за струну. А если струна лопнет, вот она и так уже вся размоталась — канитель во все стороны торчит.

— Что, что?

— Ну, проволочка, которой струну обматывают, канитель называется.

Кровь бросилась в лицо следователю Фыфкину.

— А тут вы мне можете сыграть? — торопливо проговорил он, указывая в нотах место, отмеченное как роковой ремаркой, так и роковыми событиями.

Реб Рыбка взял скрипку, взял смычок, скособочился. "Где вы говорите, тут? Ну и зараза был тот, кто это написал... В жизни так высоко еще на соль-струне не играл..." — послышался визг, Петру Иванычу показалось, что ему кто-то чешет зубы.

— Я в этом, конечно, мало понимаю, — сказал он, — но по-моему, любезный, у вас неважно получается.

— Что ж, консерваторий не кончали, — обиделся клезмер. — Но и наворочено тут тоже, знаете...

— А то, что перед этим, оно тоже... наворочено?

Скрипач от слова "скрипеть" покрутил ноты, попиликал что-то себе под нос.

— Ну!.. — с нетерпением воскликнул Фыфкин.

— Ну, ну, — проворчал клезмер, все еще страдая от нанесенной ему обиды. — Все бы ничего, если бы не эта проклятая нота. А то как будто специально.

— И последний вопрос. Вы могли бы снять струну со своей скрипки?

— Но это будет стоить...

— Хорошо, хорошо. Берите струну — да, да, вот эту, на которой вы то место играли...

— Соль-то?

— Да, и едем.
 — А скрипка?
 — Скрипку не надо.

— Полиция, открывайте! — Петр Иванович вошел в квартиру профессора Турчака, топая при этом как десять жандармов. — А, господин профессор, — сказал он хозяину, на ходу завязывавшему пояс халата, — когда к вам ни придешь, вы все спите.

— Так это вы? Но... это возмутительно. Знаете ли вы, который час! А ты почему впустила?

— Они... они... сказали, что они из полиции... — залепетала бедная Наина, кутаясь в одеяло, накинутое поверх сорочки, и дрожа — не то от страха, не то от холода.

— Вы... вы... — от гнева у Турчака даже перехватило дыхание. — Да вы знаете, что такими вещами не шутят!

— Знаю, — спокойно ответил Фыфкин. — Поэтому я и не шучу. Я полицейский следователь Фыфкин — и заметьте не Шишкин, а Фффыфкин, фффинский нож! — и имею ордер на обыск и арест ваш.

— Но в чем дело?

— Сейчас я вам объясню. Будьте любезны открыть футляр, который у вас вон в том углу. Я хочу взглянуть на скрипку покойного Пешковича. Хорошо. (Когда его желание было выполнено). Я так и думал. Вот эта струна соль совершенно новая, в отличие от остальных на ней нет калифониума.

— Чего нет?

— Калифониума.

— Канифоли, вы хотите сказать? Ну и что, я натянул новую. Старая была не в порядке, на ней...

— Да, да, знаю, на ней порвалась канитель, такая тонкая проволока, которой обматывают струны, угадал?

Турчак стал белый как снег.

— Хотел бы я знать, — продолжал Фыфкин, где она теперь?

— Я не знаю, право ... я выбросил ее.

— Ах, вы выбросили? Понятно. Ну, а мы ее нашли. Эй, все входите! — крикнул Петр Иванович в сторону входной двери. Появились: Гробкопатель, Федя, а между ними

маленький человечек, державший в вытянутой руке — словно намереваясь подать ее кому-то — свернувшуюся в колечко струну.

— Пожалуйста, снимите с этой скрипки новую струну и замените ее старой, — сказал Петр Иванович. Человечек послушно исполнил приказание. — Хорошо. А теперь возьмите скрипку и сыграйте господину Турчаку его последнее сочинение. — На пюпитр рояля — впрочем, человечек был настолько мал, что пюпитр пришелся ему по росту — легли ноты. Раздалось пиликанье. Фыфкину показалось, что оно длится вечность, когда вдруг Турчак бросился к играющему — в этот миг клезмер как раз собирался издать тот ужасный визг, от которого уже раз у Петра Ивановича зашалили нервы в зубах — и с рычаньем львицы, у которой отнимают львенка — сцена, наблюдавшаяся нами, конечно, не раз — вырвал скрипку у скрипуна — вот странно только, что почему-то рычал не тот...

— Берем, Петр Иванович?

— Берем, Федя.

Изловчившись, Федя защелкнул на тонких профессорских кистях наручники. Петр Иванович подошел к тяжело дышавшему Турчаку и сказал: "Евсей Евсеич Турчак, именем закона вы арестованы по обвинению в том, что 13-го апреля 1914 года вы убили скрипача Пешковича."

Арестованный затряс головой, словно исполнял трансцендентный этюд Листа: "Я!? Валеру!? Это был мой многолетний друг, я любил его как сына..."

— Это был человек, отнявший у вас жену, человек, которого вы ненавидели и которому жаждали отомстить. (Этюд Листа закончен. Седая голова пианиста упала на седую грудь). — Долго же вы вынашивали свой план, — продолжал Фыфкин. — Узнав, что по соседству с вами живет один несчастный, одержимый какими-то безумными идеями и что по счастливому совпадению — для вас — он является безраздельным хозяином некоего сейфа с токситами, вы решили сойтись с ним. Вы внушили ему мысль, что он велик, что мир падет к его ногам, но для этого надобно вас слушаться и не задавать никаких вопросов. Однажды вы приказали ему принести

вам цианистого калию — бедный безумец вам безропотно повиновался. В другой раз, выведав у Пешковича, когда он собирается быть в "Страже", вы дали Загвоздкину ноты с тем, чтобы тот подсунул их редактору; о, вы точно рассчитали время — после ухода вашего, как вы выразились, "сына и друга" Загвоздкину предстояло "предсказать" его гибель, указав на нужную вам ноту, которую — зная, что бедняга не силен в нотной грамоте, вы специально снабдили весьма выразительным примечанием. Кому могло прийти в голову, что вы с намерением поместили ее в таком месте черной планочки...

— Не позорьтесь, грифа, — шепнул Гробокопатель.

— Да, именно, в таком месте черного грифа, которого почти никогда не касаются пальцы виртуоза. Но по вашему злему замыслу палец виртуоза Пешковича все же должен был один раз прижать в этом месте струну. Теперь остался лишь сущий пустяк: перед самым началом концерта удалить скрипача из его комнаты и в его отсутствие в нужной точке струны — нахождение ее для вас, музыканта, не составляло труда — повредить намотку, нанеся при этом на торчащий конец проволоочки микроскопическую капельку яда. Понятно — даже чисто психологически понятно — что соблазнителью вашей жены, в ваших глазах дон-жуану первой марки, вы избираете приманкою женщину. Вы заставляете Загвоздкина, это слепое орудие в ваших руках, написать письмо за подписью вашей жертвы какой-нибудь хорошенькой женщине. Не скрою, мне приятно от мысли, что выбор его пал на мою жену. Ничего удивительного, что добрая Дарья Ильинична поспешила на призыв умирающего — это слово в письме повторяется по меньшей мере трижды — ничего удивительного, что и сам "умирающий", когда ему сказали, что его спрашивает женщина, поторопился выйти из комнаты...

— Артистической, Петр Иваныч...

— Да, конечно, артистической — чтобы... ну, не знаю, чтобы надерзить бестактной визитерке, посмевшей беспокоить артиста за минуту перед его выходом на эстраду — заметьте, "эстраду", уважаемый, а не "сцену", как написал загипнотизированный вами молодой человек. Минута проходит, артист

возвращается — но сколько струн можно успеть отравить за это время и скольких скрипачей отправить на тот свет. Знаете, профессор Турчак, в этой печальной истории для меня все ясно, кроме одного: как вы могли сказать Загвоздкину, когда вчера, мучимый страшными догадками он пришел к вам — как вы могли сказать ему, что он ничтожество, жалкий маньяк, и это после всего, что вы говорили ему прежде. По мне так эта жестокость есть преступление гораздо большее, нежели то, за которое вас будут судить. Dixi.

— А для меня в этой истории не все ясно, — говорил Гробокопатель Фыфкину, когда они последними выходили из дома, по которому теперь одиноким привидением бродила лишь старуха с одеялом, накинутым поверх ночной рубашки. — Откуда вы знали, что Турчак, такой прожженный тип, и поверит вам, что вы действительно нашли ту самую струну? Ведь этим он выдал себя с головой.

— А кто говорит, что он мне поверил. Это нервы, это чувствовать надобно. Вот послушай, я скороговорку сочинил: вранье — нервов рванье.

ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ

"СОЛО НА БАРАБАНЕ"

Богато и красочно иллюстрированный сборник юмористических и сатирических рассказов.

"Генрих Шахнович умеет подмечать смешное. Иногда и несмешное. Даже грустное. А грустное главное потому, что оно не прошло, оно еще есть

(Из предисловия Виктора Некрасова.)

КНИГА ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

В ней 265 страниц.

Стоимость — 37 лир.

*Леонид ГУБАНОВ***ПРЕКЛОНИВ КОЛЕНИ****ПОПЫТКА К БЕГСТВУ**

Царский след перехитрил
 ... царский дух у вас похитил,
 глаз со своры не сводил
 и в слезах косую видел.

Пряник весело жевал
 в шрамах был церковный пояс
 журавлями вышивал
 свой небесно-пьяный голос.

Супротив меня клешня
 золотых и красных книжек
 по земле идет резня —
 зажигальщиков и выжиг.

Не горюй лукавый мед
 что до времени не таял,
 если сердце в перелет
 значит ревность — запятая.

Восклицательна звезда
 вопросительна примета,
 надоело мне свистать
 проституток и поэтов.

Эх, ты палуба моя,
 там где мачты все порублены
 где в морщинах Ноября
 все невесты перелюблены.

где хранится старый стяг,
 где вино меня представит
 нож у родины в гостях
 книгу черную листает.

С головы я, и до ног
 мог быть крашен красным цветом,
 только я на свой порог
 приглашаю стронций — лета.

Приглашаю охру рук,
 киноварь губы разбитой,
 сажу газовую — мук
 и белила Аэлиты.

Сигарету закурю,
 что-нибудь да нарисую
 словно голову свою
 вам на плечи адресую!

ГРУСТНАЯ ФРЕСКА**Посв. А.Б.**

Я не мечтаю о былом,
 мои воспоминанья — л о м .
 Но я себя на том ловлю —
 что до сих пор тебя л ю б л ю .

Ты, только ты мой Бежин луг
ты, только ты мой Божий друг
ты, только ты, мой Адов круг
ты, только ты, и радость рук.

Что мне лукавить без тебя
что мне убавить без тебя
что мне губами без тебя
что мне и память без тебя!?

Мир опостылел, как сундук
где запечатано добро
дай мне хоть к Страшному Суду
налюбоваться лишь тобой.

нет ничего смешней тебя
нет ничего сложней тебя
нет ничего важней тебя
нет ничего нужней тебя.

власть или золото — ничто
любая истина — кора,
какой неласковой мечтой
ты для меня всегда была.

Так положи же наконец
Душу свою за черный день,
где золотится стыд колец
где между губ строга сирень.

лодка любовная плывет,
речка бездомная шалит...
кто-то меня не узнает —
из пистолетика палит.

Если простит мне экипаж
компас неопытных ресниц
буду до гроба только ваш
по полушарьям пьяных лиц.

И на коленях простою
Век свой, на днище слезы черпая.

там, где любимую мою
поят вином моего черепа!!!

Вадим ДЕЛОНЕ

СЛОВА СТУЧАТ ПО ДНУ ДУШИ

Владимиру Буковскому

Не пройдет прощанье карнавалом,
Не придется бегать по бутылки —
И тебя проводит до вокзала
Ржавый смех начальства пересылки.

Конвоир отхаркается шуткой —
Станет жутко или безразлично.
Усмехнутся, хвастаясь рассудком,
Либералы в комнатах столичных.

Поболтают с час о Дон-Кихотах,
Разойдутся чинно по семействам,
А тебя потопят в анекдотах,
Как свое гражданство в фарисействе.

Да и я ведь сам немногим лучше.
В комнатенке скомкан нелюдимо —
Я с тобой расстался, как попутчик,
На скамье унылой подсудимых.

Но не так, не так ведь расстанутся,
Дай мне Боже сил, помилосердствуй,
В час, когда колеса пронесутся
Дробью барабанною по сердцу.

Петухи не каркали три раза,
На допросы молча выводили,
Но подвел меня проклятый разум,
Перевесил сердце и осилил.

Все же не солгу и не утешусь —
Будь спокоен, друг мой, будь спокоен —
Я с тобою, если не повешусь,
Если только быть с тобой достоин.

Москва, 1967 г.

Все кончено, судьба слепа, как черт,
Которому огонь спалил глазницы.
Мне снова предъявляют ложный счет
И кажется придется согласиться.

Все кончено, душа моя слаба,
Отчаянье в виски мои стучится,
Как будто сумасшедший по столбам
По телеграфным, чтобы дозвониться.

А ты в тюрьме, и больше силы нет
Ни бросить, ни закончить строки эти,
Прости, что не увез тебя от бед,
Но лишь перед тобою я в ответе.

Все кончено, судьба слепа, как черт,
Которому огонь спалил глазницы,
Я никогда не брал ее в расчет
И это отольется мне сторицей.

Москва, 1973 г.

* * *

Тихо Богу твержу — я смирился, поверь,
 Пусть минует ее эта чаша теперь.
 Бог смеется в лицо, подшутив надо мной,
 Как смеялось ворье, как смеялся конвой.

Прошу о жизни — нет — мне отвечают,
 Прошу о смерти — отвечают нет.
 У проходной тюрьмы меня встречают
 И просят — предъявите документ.

Только галки вязнут в грязных тучах,
 Только снег скрипит по крышам ржавым.
 Ничему тюрьма нас не научит,
 Кроме чувства жалости, пожалуй.

Тихих слов никто не скажет на ночь,
 День сосулькой оборвется в вечность,
 И твои мечты разгонит напрочь
 Тенью по стене скользнувший вечер.

Лишь шаги охранников у двери,
 Чем твоя душа там только дышит.
 Я с тобой, поверь мне, ну поверь мне,
 Даже если слов моих не слышишь.

Я представить пробую, я мучусь,
 Что за сны тебе сегодня снятся.
 Стены комнат стен тюрьмы не лучше,
 В час, когда бессильем жутким смят ты.

Только галки вязнут в грязных тучах,
 Только снег к окошкам липнет, липнет.
 Я впервые проклиная участь —
 Ни уйти, ни броситься, ни крикнуть.

Как страшно, что у дней моих названья
 Такие же, как тяжких дней твоих.
 Мелькают их пустые очертанья,
 Как под ногами плиты мостовых.

Нелепа календарных чисел смета
 И невпопад явления весны.
 Мечусь я от заката до рассвета,
 Как от стены и снова до стены.

Прошу о жизни — нет — мне отвечают,
 Прошу о смерти — отвечают нет.
 У проходной тюрьмы меня встречают
 И просят — предъявите документ.

Быть жертвой родины — куда нелепей честь.
 Я мог бы уберечь тебя от боли.
 Теперь друзей по пальцам перечесать —
 Тем более оставшихся на воле.

Так о каких еще привычках речь,
 К чему взывает строчек бестолковость.
 Какая новость — жизнью пренебречь.
 Срок лагерей — какая это новость.

Так что ж мы ждем, пока придет конвой,
 Как смерти ждет задумчиво подранок.
 Не лучше ли махнуть на все рукой
 И родину считать за полустанок.

И то, что не уехал, верно грех,
 Пусть кто-то усмехнется, осуждая.
 Я молча подымаю руки вверх
 И все же этот край не покидаю.

Как знать, где потеряешь, где найдешь.
 С кошмаром снов страшной всего бороться.
 Слова стучат по дну души, как дождь
 Стучит по дну засохшего колодца.

ЗАМЕТКИ К АВТОБИОГРАФИИ

Посвящается И. Белгородской

ЭПИГРАФЫ

1. Господи, пусть минует меня чаша сия.
Евангелие от Матфея
2. Если Ты меня не отлучил
 От земли ничтожной и кровавой,
 Дай мне, Боже, сил, немного сил,
 Не прошу, чтоб чаша миновала.
 Не прошу, я всю пройду до дна.
 Чашу горя, злобы и позора —
 Наплевать, что светит мне луна,
 Все равно — что небо иллюзорно.
3. Пройдя подъем горы наполовину,
 Он понял вдруг — ни шагу не шагнуть,
 Воды просил, своих просил и римлян,
 Неспешно продолжавших долгий путь.
 Им крест не несть, звучала просьба глухо.
 Злорадный смех пронесся по рядам,
 И кто-то укусом насыщенную губку
 Ему глумясь над болью передал.
* * *
 Что родной заколдованный круг площадей,
 Что березок щебечущих стая,
 Если душу задув, словно пламя свечей,
 Я могилы друзей покидаю.
 Ни к чему говорить, только страшно молчать:
 Тяжелей разговора пустого.
 Хоть полслова родного еще услышать
 И ответить хотя бы полслова.
 Я слова эти в тюрьмах твердил по ночам,
 Где хрипел, где растратил впустую,
 Где делился, как пайкой, с людьми пополам,
 А теперь я забыть их рискую.

Что мне свет вековой белопенных церквей,
 Что запрет на круги на свои возвращаться,
 Если к тем, кто теперь за чертой лагерей,
 Ни на помощь прийти, ни прийти попрощаться.

Что мне смех обо мне, или память по мне,
 Я и сам ведь себя не узнаю,
 Если в чьей-то стране
 Мне приснится во сне,
 Как за проволокой солнце блистает.

Что мне страх перед шумом чужих городов,
 Я здесь радость и боль оставляю,
 Строки старых стихов, строки новых стихов,
 Словно клятву себе забываю.

Москва, 1975 г.

ОСЕННИЙ ЦИКЛ

А гуси гуськом угасают в тумане,
 Как руки от скуки дотронувшись зря.
 Туда пролетают, где дали в дурмане,
 Где небо как небыль за тусклостью дня.

И веслами крыльев печаль разгребают,
 Вот чей-то приют, как причал — и живу,
 Пока. И припомнил: земля облетает,
 Я плачу во сне и смеюсь наяву.

Слова ли, рожденные мною — погубят
 Меня же. Заметно ли, так как-нибудь.
 И может спокойно бессрочно уйду я
 В последний свой путь, словно в первый свой путь.

* * *

Колокольни ясные на заборы молятся,
Колобродят ясени — к осени готовятся.
Колымага желтая, где твоя дорога,
Если мало черта мне, привези мне Бога.

Колымага хрипая скуку нааукает,
Если мало крика мне — одарит разлукою.
Если беден-голоден, одарит листвою,
В колыбели-городе ветром успокоит.

Колокольни ясные на заборы молятся,
Колобродят ясени — к осени готовятся.

Москва, 1965 г.

* * *

А камни с шуршаньем ложатся в песок,
А камни хрипя расстаются с прибором.
Вот так же и мы расстаемся с судьбою.
Нам каждое утро — как пуля в висок
И день протяженностью в лагерный срок,
Когда и к словам о любви равнодушен,
Когда словно окрик в ночи одинокий,
Как будто убитых забытые души —
Тогда и вина не спасает глоток.
А камни с шуршаньем ложатся в песок,
А камни о берег неистово бьются, —
Так рвутся стихи,
Так себе признаются,
Что судорогой строк не достигнут итог.
А камни с шуршаньем ложатся в песок.
Так с болью срывают гитарные струны,

Так разом бросают все то, что берег,
И в путь отбывают, как падают с ног,
Поднявшись по трапу, как будто по трупам,
А камни навеки ложатся в песок,
В себе сохраняя дыханье приборя —
Так мы сохраняем еще за душою
Шуршание слов и сумятицу строк...
Но зыбок песок, словно памяти срок.

Москва — Вена 1976 г.

В ПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

без сокращений и купюр

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ "КРОВАВАЯ ШУТКА"

Перевод с идиш Гиты и Мириам Бахрах

В этом романе Шолом-Алейхем предстает во всем многоцветий своего таланта. Блестки народного юмора, мудрые раздумья, немеркнущий оптимизм — все, что так пленяет в других его произведениях, присутствует и здесь.

Главным героям приходится переживать множество приключений и испытаний. Жизнь искушает их любовью и враждой, призраком счастья и горечью разбитых надежд...

Запутанность сюжетных ситуаций создает постоянное напряжение, и роман читается как психологический детектив, в котором шутка, на первый взгляд вполне безобидная, оборачивается кровавой трагедией.

Роман состоит из двух томов.

Подписная цена на каждый том — 45 лир

Стоимость за границей — 8 долларов.

Подписная цена на оба тома — 15 долларов.

Заказы с приложением чека направлять по адресу:

Gita Bakhrakh P.O.B. 170, JEHUD, ISRAEL

БИБЛИОТЕКА "ВРЕМЯ И МЫ"

Идя навстречу многочисленным просьбам читателей, издательством скомплектованы три серии "БИБЛИОТЕКИ "ВРЕМЯ И МЫ", которые продаются с большой скидкой.

1. **КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ СЕРИЯ** — включает все номера журналов, выпущенных за последний год (с 7 по 20 номер), а так же следующие книги: Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" (2 книги "Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии (Книга о Войне Судного дня 285 стр., 40 фотографий, изд-во "Карив"). Всего 18 книг. Стоимость при заказе в редакции 298 лир, за границей — 35 долларов, включая доставку. Возможна оплата тремя чеками. Стоимость в магазине — 320 лир.

2. **КНИЖНАЯ СЕРИЯ** — Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" ("Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии, изд-во "Карив", всего 4 книги, стоимость 98 лир, за границей — 15 долларов, включая доставку. Стоимость в магазине — 120 лир.

3. **ИЗБРАННАЯ СЕРИЯ** — включает лучшие произведения, опубликованные за последний год в журнале "Время и мы": Зиновий Зиник "Извещение" (журнал № 8), Борис Хазанов "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" (журнал № 9), А. Б. Иошуа "В начале лета — 1975" (№ 10), "Сладкая жизнь Никиты Хряща" (№11), Борис Ямпольский "Большая эпоха" (№ 13), Борис Вахтин "Ванька Каин" (№ 14), Олдос Хаксли "Счастливый новый мир" (№№ 16, 17, 18) — всего 9 журналов, стоимостью 150 лир, за границей — 17 долларов. Стоимость в магазине — 170 лир.

Заказы с указанием серии присылать по адресу: ул. Нахмани 62/9 Тель-Авив. К заказу должен быть приложен чек на соответствующую сумму.

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ

Правда ли или нет, что человек состоит из пороков и зачат во грехе, но несомненно, что правительство возникло из насилия и началось насиллием.

(Герберт Спенсер: "Личность и государство")

Власть одного человека над другим, основанная на насилии, в источнике своем есть зло, и потому никакое устройство, удерживающее право насилия человека над человеком, не может сделать того, чтобы зло перестало быть злом.

(Лев Толстой: "О значении русской революции")

Михаил ЛЕДЕР

ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ПРЕСТУПНЫЙ МИР...



Лет пять-шесть тому назад, в годы всеобщего "израильского просперити", предшествовавшего войне Судного дня, в Израиль, помимо десятков тысяч репатриантов из Советского Союза, прибыл человек, чье появление стало тотчас же сенсацией номер один едва ли не во всех газетах. Этим человеком был всемирно известный Меир Ланский, один из ведущих главарей мафии США. Движимый неожиданно проснувшимся в нем "национальным самосознанием", а заодно и нежеланием очередной раз оказаться на скамье подсудимых, Меир Ланский вспомнил о Земле обетованной, которая, по его мнению, должна была оказать ему приют в тяжелый час его жизни.

Однако вождь израильского гражданства (будучи лицом, имеющим в прошлом судимости) он не получил. Более того, по просьбе американских властей он в 24 часа был выслан из Израйля и, облетев еще с десятков стран Европы и Южной Америки, тщетно пытаясь получить въездную визу, вынужден был вернуться в США.

Впрочем, американскому суду так и не удалось упрятать

его за решетку и, по имеющимся сведениям, семидесятишестилетний Меир Ланский вместе с престарелой супругой доживают свой век где-то в Майями Бич, Калифорнии или Флориде.

Я прошу извинения у читателя за столь пространное вступление, тем более, что разговор, который я намерен начать, относится не только и даже не столько к Меиру Ланскому, сколько к другому, не менее именитому человеку, но, в отличие от Ланского, окруженному почетом и ореолом государственного величия. Этим человеком был тогдашний министр финансов Пинхас Сапир.

Так вот, Сапир (которого на очередных поминках в Кфар-Сабе его товарищи по партии Голда Меир и Ицхак Рабин называли отцом израильской промышленности), будучи неутомимым "ловцом" иностранных инвесторов, изложил как-то Ланскому условия, на которых главарь американской мафии мог бы вложить в экономику Израиля несколько миллионов долларов.

Закулисная политическая кухня не позаботилась о том, чтобы сохранить стенограмму этой, по-видимому, любопытнейшей беседы, однако, вездесущие газетчики умудрились все-таки выудить одну, в полушутку сказанную Меиром Ланским, фразу, который в ответ на условия, предложенные Сапиром, якобы воскликнул: "И после всего этого вы еще смеете называть гангстером меня!"

Разумеется, эта остроумная реплика короля гангстеров, по понятным причинам, только и могла звучать как анекдот рядом с многотрудной деятельностью Пинхаса Сапира, созавшего под гром литавр в Иерусалиме съезд еврейских мультимиллионеров и учредившего знаменитую "Хеврат Исраэл" — первое израильское акционерное общество, действующее под покровительством самого барона Ротшильда и генеральным директором которого стал еврейский "финансовый гений" Михаил Цур, а затем учредившего и второе аналогичное израильское общество — на этот раз с участием другого "финансового гения" венгерско-швейцарско-еврейского происхождения Тибора Розенбаума и нынешнего члена Кнесета Самуэля Флатто Шарона.

Государственная мудрость Сапира помогла тогда осуществить ряд выгоднейших финансовых операций, в ряду которых, например, оказалась частичная продажа иностранному капиталу крупнейшей Израильской паровой компании ЦИМ, нефтеочистительных заводов в Хайфе и ряда других предприятий. И остроумную реплику Меира Ланского, возможно, никто бы вообще не вспомнил, если бы по "странному стечению обстоятельств" еврейский "финансовый гений" и один из близких друзей Сапира Михаил Цур не отбывал сегодня наказания в тюрьме в Рамле; и если бы не выяснилось, что другой финансовый гений, ученик Сапира Тибор Розенбаум не обобрал до ниточки всех до последнего вкладчика, которые ему доверились; и если бы не вскрылся контрабандный вывоз миллионов долларов в швейцарские банки и безудержная международная спекуляция, например, Вадузских компаний в Лихтенштейне; если бы в Израиле не была обнаружена подпольная экономическая "империя", ворочающая такими суммами черных денег, о которых, быть может, не мечтал и сам Меир Ланский (по признанию бывшего начальника полиции Шауля Розолио, в распоряжении этой империи находится до двухсот миллиардов израильских лир); если бы, наконец, за один только 1976 год в стране не было заведено около шестисот тысяч уголовных дел — получается, что в среднем уголовный закон нарушает все взрослое население страны и даже не по одному разу в год. Право же, на этом фоне остроумная реплика Меира Ланского, обращенная к Сапиру, "И после этого вы еще смеете называть гангстером меня!", обретает несколько иной, я бы сказал, зловещий смысл.

Понятно, что Израиль — отнюдь не исключение в свободном мире. Напротив, мы знаем, что в смысле развития преступности мы, слава Богу, отстаем от многих стран. В США, например, свыше пяти тысяч граждан, тайно принадлежащих к мафии, едва ли не открыто пользуются услугами армии и опираются на помощь 50 тысяч гангстеров "не в законе", то есть убийц, грабителей, наркоманов, контрабандистов и т.д., а рост преступности во Франции за один лишь 1976 год составил 30 процентов.

Возникает вопрос, куда же идет современный человек и современный мир? Какие процессы превращают преступность в самое массовое явление жизни?

На все происходящее, разумеется, острее всего реагирует обыватель, преисполненный веры в мудрость и могущество правительства, в его умение и способность навести порядок. Так вот этот обыватель неизменно восклицает: "Распустились! Куда же смотрит правительство? Где наша полиция?"

Однако правительство и не думает сознаваться в своем бессилии. И еще гораздо меньше в том, что оно и есть главный виновник происходящих в обществе аномалий. Правительство бодро разрабатывает мероприятия, щедро сыплет обещаниями, составляет все новые и новые проекты и сметы, так что ему хоть двойной, хоть тройной бюджет давай, а денег на борьбу с преступностью все равно не хватит. Да вот, не угодно ли: выдержка из одного популярнейшего американского журнала: "Независимое исследование много-миллиардной правительственной программы по борьбе с преступностью привело к выводу, что сделано очень мало и что Управление по укреплению законности, ведающее этой программой, должно быть упразднено. Центр научных исследований по вопросам безопасности установил, что свыше четырех миллиардов долларов, израсходованных вышеназванным Управлением, с 1968 года не дали почти никаких результатов, достойных упоминания. Некоторые местные полицейские Управления воспользовались этим федеральным фондом для создания претенциозных, но бесполезных новых видов оружия и таких же оперативных отрядов. Тем не менее Конгресс большинством в 324 против 8 голосов ассигновал Управлению по укреплению законности 1,1 миллиарда долларов на 1977 год".

В другом издании я на днях прочитал, что таможенная полиция Соединенных Штатов просто не в состоянии соперничать с контрабандистами: у тех и катера́ быстроходнее и штаты в несколько раз больше, люди смелее и лучше обучены, чем береговая охрана, так что в результате таможенникам удается перехватить лишь 8-10 процентов перевозимых наркотиков. А в Израиле? Полиция не в сос-

тоянии обеспечить охрану даже собственного штаба — не далее как в прошлом году именно отсюда неизвестные злоумышленники похитили миллион с лишним конфискованных лир (настоящих и фальшивых) и множество секретных следственных документов с адресами, фамилиями и т.д. А совсем недавно дошли до того, что установили микрофон для подслушивания в кабинете самого начальника оперативного отдела полиции.

Каковы же пути борьбы со всем этим? Послушать власти — необходимо в несколько раз увеличить штаты сыщиков, автоинспекторов, а заодно и фининспекторов, таможенников, санинспекторов, контролеров, счетных работников, ревизоров. Но теперь кажется, что и власти начинают понимать, что все это паллиативы — охватившие мир метастазы преступности растут и, похоже, современное общество вообще не располагает действенным средством для того чтобы остановить этот галлопирующий мафиоз.

Когда же мы говорим о его истоках, то я думаю, что мы имеем дело не с одной, а с целым рядом причин. Точнее даже не причин, а парадоксов, которые трудно поддаются объяснению вне связи с социальными и экономическими законами жизни современного общества.

Парадокс номер один, по моему мнению, это то, что виновником происходящего является не кто иной, как само государство, которое по логике вещей должно было первым противостоять преступности, отстаивая свободу, права и неприкосновенность своих граждан. Но произошло то, чего больше всего опасались "ранние либералы" — словно предчувствуя откуда идет опасность, они еще в начале прошлого столетия отстаивали только что завоеванную свободу граждан от посягательств государства.

Все дело оказалось в том, что та самая вожделенная свобода, за которую было пролито столько крови на баррикадах, оказалась не столь уж необходимой для *homo liber* и в конце концов для тех же "ранних либералов". Точнее, он воспользовался ею лишь затем, чтобы где — медленно и постепенно, а где более быстрыми темпами — отказаться от нее в пользу государства. И, возможно, незаметно для само-

го себя превратился из homo subjectus в homo obnoxius, то есть в личность подвластную и покорную, в обычный "винтик".

Под всевозможными предложениями государство распространяло свое влияние решительно на все области жизни общества и каждого его члена в отдельности, окружало его частоколом все новых правил и законов, облагало налогами, регламентировало, предписывало, контролировало, национализировало и обобществляло, планировало, мобилизовывало, "благодетельствовало", пока гражданин не попал в полную зависимость от государства и не уверовал, что любое его стремление, любая цель, касается ли она работы, образования, жилья, здравоохранения, охраны труда, социального обеспечения, может быть достигнута исключительно — и наилучшим образом — при помощи государства, а не благодаря его личной энергии. Произошло то, против чего Герберт Спенсер предостерегал Англию чуть ли не столетием назад, ссылаясь не на пример "социалистического" Китая или России (строй которых он предсказал с поразительной точностью), а на пример современной ему континентальной Европы, представлявшей ему предтечу полного тоталитаризма.

"Народное при своем основании и подвергающееся через известные промежутки времени народному суждению, оно (французское правительство) тем не менее до такой степени попирает права граждан, что английские делегаты на недавнем конгрессе рабочих ассоциаций говорят: "Это позор для республиканской нации и аномалия в республике..."

...При таком правительстве народная масса, управляемая иерархией должностных лиц во всех внутренних и внешних своих проявлениях, работала бы для того, чтобы содержать организованную группу, держащую в своих руках власть, тогда как ей самой оставалось бы лишь столько средств; чтобы влачить жалкое существование. И затем возвратился бы, только в иной форме, тот государственный строй, та система принудительной кооперации, традиции

которой олицетворяют до известной степени старый торизм и к которой возвращает нас новый торизм".

"Представьте себе, каково будет при этих условиях самовластие иерархически построенного и централизованного чиновничества, держащего в своих руках средства общества и имеющего в своем распоряжении всю силу, которую оно сочтет необходимой, чтобы принудить выполнить свои декреты и поддерживать то, что оно назовет порядком. Нечего и удивляться тому, что Бисмарк обнаруживает склонность к государственному социализму".*

Взглянем теперь на современный мир — понадобилось менее одного века, чтобы перед лицом растущего этатизма и влияния государства лозунги ранних либералов о всеобщем равенстве, братстве и свободе превратились в пустой звук.

Столь же мертворожденной оказалась и марксистская догма об отмирании государства, об уничтожении армии и чиновничества, о необходимости "разбить государственную машину". На практике социализм Маркса и Оуэна, замысленный как свободная ассоциация производителей, повсеместно "обогатился" эпитетом "государственный" и, пережив никем не предсказуемую историческую метаморфозу, превратился в этой ипостаси из средства раскрепощения человека в средство его закабаления.

Законов, правил и всяческих регламентаций, опутывающих личность со дня ее рождения до дня смерти, существует в таком множестве, что нормальный человек просто не в состоянии прожить жизнь, не переступив черты закона, и, если сегодня, в среднем, каждый взрослый израильтянин посягает на него, то, конечно же, не в силу своих преступных наклонностей. Просто нормальная жизнь, в условиях ее сегодняшней государственной регламентации, не согласуется и практически не может быть согласована с бесчисленными требованиями и предписаниями закона. Отсюда не будем удивляться тому факту, что подавляющее

* Герберт Спенсер, "Личность и государство", глава "Будущее рабство", Лондон, 1884.

число правонарушителей, переступая черту закона, делают это либо сами того не подозревая, либо не в силах избежать этого, будучи исполненными желания прожить нормальную человеческую жизнь.

Далее. Парадокс номер два состоит в том, что наемный работник, щедро одаренный на заре современного либерализма политическими свободами, потребовал и свою долю материальных благ. Он понял, при этом, что для этой цели нет, лучшего пути, чем сорганизоваться, подобно государству, в такие же авторитарные, иерархически построенные, дисциплинированные боевые союзы. И вместо того, чтобы объединить свои усилия главным образом на поприще хозяйственном, как это делали, например, на заре сионизма рабочие Израиля, вместо того, чтобы создать высокопродуктивные экономические ассоциации, наемные работники решили себе силой вернуть результаты своего труда. Эта борьба увенчалась таким триумфальным успехом, что и не всегда сегодня скажешь: а только ли плоды своего труда присваивают себе в результате непрекращающихся забастовок наиболее сильные категории наемных работников? Не наживаются ли они в ряде случаев за счет налогоплательщиков? Вдобавок наемные работники, за голосами которых погнались после введения всеобщего избирательного права все партии, выторговали себе у этих партий всевозможные экономические выгоды — то, что сегодня в профсоюзах принято широковещательно называть "социальными завоеваниями трудящихся". А когда они сами сорганизовались в политические партии и даже пришли к власти, то их социалистические вожди под теми или иными "социальными" предложениями еще более усилили вмешательство государства в жизнь общества.

Эти два процесса — усиление роли государства, его быстротечный элитизм и обусловленная им необходимость выкачивать из общества все большую долю национального дохода — с одной стороны, и возросшая мощь наемных работников, успешно соперничающих с государством в погоне за материальными благами и не гнушающихся ради этого никакими средствами — с другой, сделали то, что в

наше время совершенно невозможна стала классическая частная инициатива. И произошло это не только из-за крушения нравственных ценностей и понятий, таких, например, как святость данного слова, заключенного договора, исполнение принятых на себя обязательств и т.д., но еще более из-за того множества пут, которыми государство по рукам и ногам связывает любую инициативу. А главное, пожалуй, из-за того, что благодаря все возрастающим "социальным завоеваниям трудящихся" от дохода частного предпринимателя, после уплаты им налогов и выплаты заработной платы, почти ничего уже не остается, если производить качественно, торговать без обмана, расплачиваться с государством, наемными работниками и контрагентами честно, не нарушая законов.

Вот и получается, что в этих условиях у предпринимателя нет иного пути в борьбе за существование, кроме как либо "присосаться" к главному каналу денежных поступлений, то есть к казне, получив от государства ассигнования, субсидии, жирные заказы, всевозможные льготы, либо обходить закон и класть в собственный карман, если не все суммы огромных налоговых платежей, то во всяком случае значительную их часть.

Не случайно почти все искусство Управления производством сводится сегодня к "паблик релейшнс", то есть к умению заводить связи с государственными учреждениями, банками, разного рода профсоюзными и производственными объединениями и, главное, любыми путями — чаще всего незаконными — держать в узде наемный персонал, чтобы не бастовал. Либо же, наконец, организовать, подобно государству и профессиональным союзам, в "семейные" или отраслевые синдикаты, построенные по иерархическому принципу и действующие на основе строжайшей секретности и дележа добычи по месту, занимаемому в иерархии, на основе применения неотвратимой и беспощадной кары в отношении тех, кто нарушает установленные здесь негласные законы. В этих "синдикатах" никакого делопроизводства не требуется, никакой бюрократии нет, хотя они и ворочают миллионами, держат лучших юристов и даже имеют

собственный суд, приговоры которого обжалованию не подлежат. И предусматривают эти приговоры чаще всего высшую меру за нарушение субординации или секретности.

При этом надо иметь в виду, что государство, с его насквозь ханжескими установлениями и нормами, не только перераспределяет доходы, не только "беспокоится" о благосостоянии и социальной справедливости для всех, но оно еще печется и о нравственности своих подопечных граждан. В связи с этим оно не может допустить азартных игр, проституции, контрабанды, торговли наркотиками, скупки и сбыта краденого, вот в эти-то щели, из которых доходы текут куда обильнее, чем из законного бизнеса, и устремляются мафии — вывозят и ввозят контрабандой алмазы, золото, валюту — это с одной стороны, а с другой — инвестируют миллионы в законные проекты и предприятия. Нынешний король наркотиков, главарь семейства Бонано, одного из пяти мафиозных семейств, правящих в Нью-Йорке, помимо того что заправляет торговлей героином, занимается ракетирством, шантажом, измождением, является хозяином многих игорных домов, — еще и владеет рядом текстильных фабрик, транспортных предприятий, пищевых заводов и т.д.

В Израиле, если судить по сообщениям печати, текстильная промышленность также в значительной степени поражена мафиозом. Да и не только текстильная. Понятно, что "изделия" мафиозных предприятий значительно дешевле обычной продукции, так что торговые фирмы предпочитают именно эти изделия. Таким образом, стирается последняя грань между честным предпринимательством и мафией. И в сферу влияния преступного мира вовлекаются все новые слои населения.

Далее, вторая половина двадцатого столетия не только принесла крушение традиционных духовных ценностей — о чем мы уже говорили и чему не счесть примеров, но более того, их место все увереннее занимает блатной закон, в сущности ничего другого собой не представляющий, как доведенное до логического конца построение тоталитарных го-

сударств и партий. На чем сегодня зиждется советское "государство рабочих и крестьян"? Чего требует от своих членов, скажем, КПСС? Они зиждутся на твердом авторитете, на строгой иерархии, субординации, дисциплине, слепом повиновении, строжайшей секретности и — по крайней мере в идеале — на доноситељстве, тщательно разработанной системе наказаний. Совершенно так же, разве еще беспощаднее, конституирована и мафия.

При этом главный принцип блатного закона, вернее основной источник силы преступного мира — как и государства — не столько в сплоченности собственных рядов, сколько в совершенной рыхлости рядовых обывателей, "фраеров". Каждый побывавший когда-нибудь на этапе, великолепно знает, что двое-трое уроков могут без труда привести к повиновению целый телячий вагон — а в нем до ста-ста пятидесяти "фраеров".

Лично я на себе испытал, что значит спаянность в преступном мире — получив свой первый урок еще в 1944 году, сразу же по прибытии на восьмой участок Орской Исправительно-трудовой колонии. Спускаясь перед разводом по ступенькам землянки в столовую, я заметил, как кто-то из "малолеток" — а их было у нас на участке видимо-невидимо — подкрадывается к моему сокамернику Грише Орлову и пытается вытащить у него из кармана шинели оставшуюся краюху. Я, естественно, закричал: "Гриша, хлеб!" Ершик тот малолетний тут же юркнул в толпу, так и не вытащив хлеба из Гришиного кармана. Зато, когда съев свою пайку, я отправился в барак, налетела на меня оборванная, сопливая и невообразимо жестокая орава и при всеобщем бездействии сотен заключенных до того меня изувечила, что я едва не отдал концы.

И не у кого было просить защиты, политический мог идти за защитой только к куму или бежать на вахту. Но нет в лагере смертнее греха, чем обращаться к "куму" или идти на вахту. Помимо того, что не было никакой пользы от таких жалоб — пускай даже они продиктованы и не стремлением выслужиться, а элементарным отчаянием — сами "фраера" презирали доноситељство и "стукачество" боль-

ше всего на свете. Шли на самые страшные унижения, а то и сами хватались за топор, но не доносили.

Даниил Данилович Шаповалов, бывший пресвитер Днепропетровской общины баптистов, гигант, красавец-мужчина и бас (прямо окна дрожали в бане, когда он распевал "Выхожу один я на дорогу"), знавший чуть ли не всю Библию наизусть, процитировал мне как-то в осуждение доносительства десятый стих тринадцатой главы Притчей Соломоновых: "Не доноси на раба господину его, а то он тебя проклянет и ты же и будешь виноват".

Я тоже читал Библию и Талмуд в молодости и хорошо помнил комментарий Ибн-Эзры к этому месту и потому спросил Даниила Даниловича: "Кто проклянет, перед кем будешь виноват? Перед рабом, на которого донес, или перед господином?"

Я не случайно вспомнил этот, как будто бы и не имеющий к делу разговор — однако, так уж повелось, что недоверие, а то и отвращение к доносительству бытует и в обществе. И точно так же, как в лагере, никакая "толпа цивилизованных людей" в современном обществе не "разнимает дерущихся", не бежит доносить в полицию, даже если (как это нередко случается в Нью-Йорке) на ее глазах насилуют женщину. Не только из страха перед насильником, сколько перед самой полицией. Согласно статистике, изнасилованные женщины в ряде случаев не обращаются в полицию, так как полиция ее же во всем и обвинит, не говоря о позоре, который она навлечет на себя этим.

Одновременно с блатным законом в обществе распространилась и пускает все более глубокие корни блатная мораль — тот особый кодекс чести, по которому лагерное "духарство" и грубая сила являются непременными и наиболее ценными достоинствами личности. Черты эти и впрямь становятся характерными для современного человека, вырванного из своей естественной среды (тем более, если в той среде эти качества освящались местными нравами и обычаями) — и вдруг угодившего в блистательный, но не слишком гостеприимный Нью-Йорк или в жернова израильской бюрократии.

Как еще пуэрториканец или марокканец может достичь тех благ, которые соблазняют его на каждом шагу в метрополии? Работать по найму? Это ему, конечно, обеспечит скромное существование, но ведь то же самое ему предоставит государство, если он только хорошенько "набузит" в отделе социального вспомоществования, представит себя припадочным или предстанет как отец десятерых детей. Все это он сделает с куда большей охотой в обществе, где честностью, вежливостью, порядочностью не только ничего не добьешься, но прослывешь еще и "слабаком", трусом и дураком, в обществе, культивирующем под предлогом раскрепощения личности все те дурные животные инстинкты, с укрощения которых человеческая цивилизация ведет свое начало.

И вообще отделы социального вспомоществования сегодня в состоянии накормить любого люмпена, тем более, если он еще не будет брезговать предлагаемой работой. Но для удовлетворения "высших потребностей" — например, потребности в великолепном "кадилляке" или в возможности проводить ночи в ночных барах, жить в фешенебельных гостиницах, иметь яхты и загородные виллы — для достижения всего этого недостаточно пойти на биржу труда и наняться работать, а наняться нужно совсем для другой "деятельности".

В "предпринимателях" нет нынче недостатка, поле деятельности ширится с каждым днем, а твой босс, если ты только готов предоставить себя в его распоряжение, уже позаботится о том, чтобы, благодаря своим связям, благодаря лучшим адвокатам, а главное — благодаря своей способности нагло злоупотреблять демократией и гражданскими свободами, обеспечить тебе и высокие заработки и полнейшую безнаказанность.

И снова вопрос: существует ли выход из этого тупика? И снова взоры обращаются к усилению сыска, полицейского аппарата и судопроизводства — но ведь это неизбежно повлечет за собой ограничение прав личности и гражданских свобод.

Другим средством могли бы стать далеко идущие изме-

нения в структуре общества, отказ от основной бихевиоральной предпосылки капитализма, то есть замена индивидуалистического, приобретательского этоса перспективой, ориентирующейся на общее благо, — как пишет Фред Гирш в "Социальных пределах экономического роста". Но Гирш тут же спрашивает, и мы вслед за ним: "Однако, может ли это быть достигнуто без того, чтобы не погрязнуть в контроле за мыслью, типа китайского?"

ДИМИТРИЙ ПАНИН

"МИР-МАЯТНИК"

**Этические принципы людей доброй воли
Мир-маятник (Осциллирующий мир)
Какой путь выбрать**

Русский философ и инженер, Д. Панин, после 16 лет пребывания в советских тюрьмах и лагерях опубликовал на Западе "Записки Сологодина", "Вселенная глазами современного человека", "Солженицын и действительность" Автор книги "Мир маятник" призывает людей доброй воли всех стран земного шара не дать остановиться развитию человечества, приближающемуся к конечной точке размаха маятника. Конструктивные решения опираются на законы природы, данные науки и положения, проверенные жизнью.

Цена книги в Израиле - 32 лиры, в США и Канаде - 6 \$
во Франции - 32 F. FR, в Германии - 16 DM

Заказы с приложением чека направлять по адресу:

A.D.P., B.P. 79, 75762 Paris Cedex 16, France.

Книга продается в русских магазинах

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«КОНТИНЕНТ» № 12

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Ржевский — Клим и Пяночка. Повесть
Станислав Баранчак — Пять стихотворений.
Анатолий Гладилин — Репетиция в пятницу.
Анна Горбунова — Стихи.
Виктор Некрасов — Взгляд и нечто. Часть 2-я.
Иосиф Бейн — Стихи.
Казимеж Орлось — Дивная малина Продолжение.

СТИХИ

Наум Коржавин
Виктор Некипелов
Гелий Снегирев — Мама моя, мама... Продолжение.

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Лариса Богораз — Мелкие бесы.
Наталья Горбаневская — Несколько слов в послесловие.

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Юзеф Чапский — «Культура».

ЗАПАД — ВОСТОК

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

ИСТОКИ

ИСКУССТВО

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Главный редактор журнала — **ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**
Представитель в Израиле — Михаил Агурский. Рамот, 6/30, Иерусалим.
"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ.,
пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ., включая пере-
сылку.



A. Neimanis-Buchvertrieb

Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY

Tel. 37-05-34

ДЕКАБРИСТЫ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Книга, главу из которой мы печатаем ниже, называется "Стихи и люди". Имя автора, Ефима Григорьевича Эткинда, хорошо известно каждому, кто интересуется русскими литературными делами.

Стихи и судьбы людей действительно связаны в России перекрестной рифмой. Иногда стихи пророчат о судьбе, но чаще судьба является расплатой за стихи. Особенность знакомого нам по опыту периода русской истории заставляла нас постоянно оглядываться назад, не в поисках аналогий, а для постижения закономерностей.

В наш век, в наши десятилетия исторический спектакль, оформленный как процесс против инакомыслия, особенно часто собирал зрителей, трепещущих от страха или от гнева, норовивших уклониться от выхода на сцену или — напротив — стремившихся к опасным ролям. Традиционно и типично для России вмешательство литературы в политику, с одной стороны, и приравнивание слова к делу, стиха к политическому акту, поэмы к восстанию — с другой. Уже Радищев был "бунтовщик хуже Пугачева" в глазах Екатерины II. Уже Рылеев мостил стихом дорогу к виселице.

Когда опыт минувших десятилетий советской истории, богатый обрушившимися иллюзиями, крахом репутаций, предательством вчерашних героев, потребовал осмысления, возникла целая литература, где настоящее время задавало вопросы прошлому.

Немудрено, что зрелище первого массового политического процесса в России, процесса декабристов, вызвало особенно пристальное внимание писателей и публицистов послесталинских десятилетий. Советская историческая беллетристика любила показывать декабристов на эффектной сцене Сенатской площади или в скромных декорациях Читы и Петровского Завода.

Для наших ближайших современников всего важнее и нужнее стало понять декабриста под следствием и на процессе. Ведь именно здесь, в раскаянии, ошибках и обманутых порывах к истинности и искренности вырабатывался опыт поведения инакомыслящего под судом и следствием, кодекс зека, который необходимо усвоить каждому, потому что в нашем удивительном столетии зеком может стать каждый.

Ефим ЭТКИНД

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.

А. Пушкин

1.

О, мира черного жилец!
Сочи все прошлые минуты;
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!..

В. Ф. Раевский. Певец в темнице.
1822

Морозный день 21 января прежде, в давнем детстве, был неправдоподобно прекрасен. Утром этого дня мальчику Евгению — а мальчиком он дома оставался и тогда, когда стал портупей-юнкером, и позднее, когда, отрастив усы, уже был гвардейцем и поручиком, кавалером святой Анны — мальчику дарили тщательно обдуманые презенты; мама со старомодной торжественностью поздравляла его с днем ангела, а младший брат Костя декламировал сентиментальные стихи, по сему случаю им сочиненные. Евгений помнил многие из этих именных дней: всего-то их за его жизнь было менее тридцати, так что и вспомнить почти все подряд было не так уж трудно, и он перебирал один за другим, закрыв глаза, чтобы не видеть сырой камеры Алексеевского равелина, ее низкого черного свода, толстой железной решетки за маленьким окошком, выходящим на глухую стену, ночника с конопляным маслом, который, коптя и подрагивая, мутно-неверным светом освещал каземат.

Еще пять недель назад он был князем Оболенским, наследником знатнейшего аристократического рода, и его именины радостно праздновались семьей, в которой он, поручик, был общим любимцем. Еще пять недель назад он жил в родительском доме, а вокруг него была стройная красота петербургского ампира, восхищенная любовь домашних, пленительные девушки, блестящие офицеры лейб-гвардии Финляндского полка, веселье и преданные друзья. Сегодня он государственный преступник, арестант Петропавловской крепости, он один, и вокруг него — мрак каземата, мокрые стены, безмолвие часовых.

День 21 января 1826 года князь Евгений Оболенский не забудет. Впереди у него жизнь долгая, — куда более долгая, нежели у многих соратников и друзей: еще сорок лет впереди, и переживет он не только Кондратия Рылеева, которому до петли осталось менее полугода, но и государя императора Николая Первого, который утвердился на престоле и, казалось бы, в жизни — навеки, но чья вечность все же окончится через три десятилетия. Оболенский будет жить и тогда, когда истечет срок этой вечности. Он переживет крестьянскую реформу, переживет Белинского, Чернышевского, Некрасова, не поймет ни их идей и сочинений, ни их борьбы, но будет жить рядом с шестидесятниками, он, человек двадцатых годов. Будет жить Оболенский, но дня своих именин в 1826 году не забудет никогда.

Этот день именинник ознаменовал тем, что написал письмо императору.

До того Оболенский вел себя на допросах Следственного комитета мужественно и гордо. Он был немногословен и по-солдатски сдержан. Себя он не щадил и фактов, суливших лично ему грозную опасность, не скрывал. Ни на миг Оболенский не забывал, что перед ним — враги. А вот 21-го января он про это забыл. Царь обласкал его и обманул; царь разрешил передать узнику письмо от больного старика-отца; царь разыграл перед Оболенским поборника конституции и свободы. И еще один человек помог обращению Оболенского — священник Казанского собора, протоиерей Мысловский, отец Петр, единственный, кто имел доступ

в каземат. Те из декабристов, кто были старше и сильнее духом, отвергали его услуги. Умный, трезвый Лунин сразу понял, что священник — "переряженный жандарм", что Мысловский повинен в нарушении тайны исповеди. Владимир Федосеевич Раевский, который был тех же лет, что Оболенский, но уже имел немалый тюремный стаж и опыт, разобрался в Мысловском сразу. Протоиерей явился к Раевскому, присел на его постель и, познакомившись с новым узником, поспешил передать ему слова, якобы произнесенные государем: "Если бы эти люди просили у меня конституции не с оружием в руках — будто бы сказал Николай Павлович, — я бы посадил их по правую руку от себя".

Раевский ответил отцу Петру, а через его голову, императору:

— Послушайте, здесь в казематах до четырехсот человек. Неужели все с оружием в руках требовали конституции? И до сих пор посадил ли государь хоть одного человека по правую руку от себя?

Раевский в своих воспоминаниях сообщает далее: "Священник мой замолчал. Разговор не клеился. Я был уже опытный арестант. Он вышел."

В самом деле, до встречи с лукавым и, как видно, талантливым иезуитом Мыловским "первый декабрист" Раевский четыре года томился в Тираспольской крепости. Евгений же Оболенский был новичок, противостоять отцу Петру и царю Николаю он не умел. Император и священник действовали в надежном союзе, — недаром в день казни пяти декабристов император пожаловал священнику орден святой Анны.

Первоначально Оболенский был на жестком режиме; сразу же после первого допроса, 15 декабря, император Николай написал записку коменданту Петропавловской крепости Сукину: "Оболенского посадить в Алексеевский рavelин под строжайший арест, без всякого сообщения; не мешаешь усилить наблюдения, чтобы громких разговоров не было между арестантами, будь по месту сие возможно". В течение ближайшего месяца Николай постарался внушить Оболенскому, что он только и ждет случая, чтобы проявить

свой либерализм и учредить в России чуть ли не республику с императором во главе — и Евгений Оболенский сдался; 21-го января он написал на имя "всемилоостивейшего государя" письмо, удивительное по слогу (не сочинял ли его Мысловский? Не писал ли Оболенский под диктовку отца Петра?) и ошеломительно-неожиданное по содержанию. Оболенский униженно благодарил царя за оказанную ему, узнику, милость: "В то время как я лишился всех надежд, когда темница сделалась мой мир, а голые стены оной товарищами моей жизни, манием благотворной руки твоей письмо отца моего как ангел-утешитель принесло спокойствие и отраду душе моей. Благодеяние твое, монарх милосердный, воззрение твое на мольбу семидесятилетнего старца остаются незабвенным в душе моей".

Итак, царь велел передать Оболенскому послание отца; в знак благодарности военный вождь Северного общества сочиняет большое письмо на имя государя. Он пишет, что честь не позволяет ему называть своих сообщников и единомышленников: "Члены Общества, приняв меня в сотоварищи свои, честному слову моему и клятвенному обещанию вверили честь, благоденствие и спокойствие как каждого из них, так и семейств, к коим они принадлежат". Что ж, этот довод неотразимо убедителен, и Оболенский углубляет его, он пишет: "Мог ли я тою самою рукою, которая была им залогом верности, предать их суду, тобою назначенному, для сохранения жизни своей или уменьшения несколькими золотниками того бремени, которое промыслом всевышнего на меня наложено? Государь, я не в силах был исполнить сей жестокой обязанности".

За сим следует, однако, опровержение этих доводов. В монархе Оболенский теперь видит "не строгого судью, но отца милосердного", ибо, как он пишет, "вера, примирив меня с совестью моею, вместе с тем представила высшие отношения мои; милосердие же твое, о государь, меня победило". И потому "... видя в тебе не строгого судью, но отца милосердного, я с твердым упованием на благость твою, повергаю тебе жребий чад твоих, которые не поступками, но желаниями сердца могли заслужить гнев твой."

"Повергаю тебе жребий чад твоих" — на обиходном языке означает: "вручаю тебе судьбу твоих подданных," то есть, передаю тебе, государь, список лиц, состоявших в Тайном обществе. И в самом деле: к верноподданному письму приложен на трех листах список — список семидесяти членов Северного и Южного обществ, о которых доселе Оболенский умалчивал. В заключение же, ниже списка, он начертал.

"Представив тебе, всемилоостивейший государь, имена всех членов, мне известных, я не имел в виду уменьшение моего наказания, — в том сам Бог может быть свидетелем мне, — но единственно очищение моей совести перед тобою, исполнение священнейшего долга пред семидесятилетним отцом, коего скорби я причина и обязан стараться изгладить всеми возможными способами; и, наконец, душевная обязанность и требование представить тебе содействие каждого из членов общества в истинном и беспристрастном виде".

"Очищение моей совести..." Сколь гибко это понятие — "совесть", сколь оно растяжимо!..

Предательство? Не будем спешить со зловещим клеймом. Постараемся помнить, что молодой князь Оболенский — христианин, а Николай — лицедей; что новый император, прикидываясь "либералистом", обещает заблудшим подданным всеобщее и полное прощение; что в расчеты декабристов входило — представить их еще недавно Тайное общество не кружком заговорщиков, а объединением лучших, умнейших людей России. Потому, может быть, и назвал Оболенский сразу семьдесят человек, а среди них, не только "служащего при генерале Ермолове Грибоедова", но и собственного младшего брата, Константина Оболенского, того самого Костю, который некогда в именинные дни читал посвященные брату стихи. Оболенский снабдил имена в своем списке примечаниями, которые призваны были смягчить участь мятежников; о Грибоедове сказано, что он "был принят месяца два или три перед 14-м Декабрем, и вскоре потом уехал. Посему действия его в обществе совершенно не было." О брате Константине: "Государь! Ты, может быть, усомнишься в словах моих касательно брата; но прикажи спросить бывших товарищей его по полку, спроси всех его начальни-

ков, я уверен, что все единогласно подтвердят тебе, что ни характер, ни занятия его, ни связи не соответствуют цели нашего Общества. Живя с ним в одной комнате, я не мог скрыть ему существование Общества, и потому принял его в оное; но со времени вступления его в Общество он не только ни одного члена не принял нового, но не сблизился даже с теми членами Общества, с которыми он должен быть в сношении. Государь всемилостивейший! Удвой мне наказание, но ради семидесятилетнего отца пощади брата, совершенно невинного и ни в каком отношении тебе не опасного."

Таков поступок, совершенный Евгением Оболенским 21-го января 1826 года, в день св.Евгения, за что государь император явил милосердие свое и повелел снять с заключенного кандалы, кои до той поры отягощали его. Следственный Комитет внес в свой журнал следующее августейшее распоряжение: "Усматривая, что все последние показания кн. Е. Оболенского оказались справедливыми, положили: за таковую его откровенность, согласно высочайшей воли, изъявленной в резолюции на письме его, Оболенского... приказать снять с него оковы".

Царь преподнес Оболенскому подарок к именинам — освобождение от цепей.

Другим подарком было письмо Рылеева, тайно доставленное Оболенскому сторожем равелина Никитой Нефедьевым. До Рылеева дошла весть о снятии кандалов (а, может быть, и то, какой ценой достигнута была эта царская милость) и он послал другу стихотворение, датированное тем же 21-м января:

Прими, прими, святой Евгений,
Дань благодарную певца,
И слово пламенных хвалений,
И слезы, катящи с лица.
Отныне день твой до могилы
Пребудет свят душе моей:
В сей день твой соимяник милый
Освобожден был от цепей.

Это стихотворение, адресованное святому Евгению и воздающее ему хвалу за милость, оказанную его соимянику,

Евгению Оболенскому — дань давней и верной дружбы, которая связывала обоих декабристских вождей. В написанном через несколько десятилетий "Воспоминании о К.Ф. Рылееве" Оболенский расскажет:

"Кондратий Федорович был там же, но я этого не знал... немая прислуга, немота приставника, все покрывалось мраком неизвестности; но из вопросов Комиссии я должен был убедиться, что и он разделяет общую участь. Первая весть, которую я от него получил, была следующая строфа:

Прими, прими, святой Евгений...

При чтении этих немногих строк радость моя была неизъяснима. Теплая душа Кондратия Федоровича не переставала любить горячо, искренне. Много отрады было в этом чувстве: я не мог ему отвечать..."

Может быть, стихотворение Рылеева показалось Оболенскому прощением за список.

2.

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы...

А. Пушкин

Отвечая на вопросные пункты Комитета, Оболенский не скрывал близости с Рылеевым, — он с гордостью объявил о ней: "...принят был в Общество Рылеев, — мы вскоре с ним сблизились и теснейшими узами дружбы запечатлели соединение наше в Общество".

Они были очень разными. Рылеев — поэт и пылкий мечтатель. Оболенский — хладнокровный политик и военный. Рылеев — из разорившихся провинциальных дворян. Оболенский — из аристократического рода, восходящего чуть ли не к Рюрику. Рылеев жил с шести лет в кадетском корпусе, где били розгами и учили как попало, Оболенского растили сменявшие друг друга французы-гувернеры (общим числом до восемнадцати), он с детства овладел европейскими языками и математической наукой. Служение

грядущей революции их соединило и сблизило. Оболенский прежде Рылеева стал тем, что в двадцатом веке называли бы "профессиональным революционером": один из организаторов Общества Добра и Правды в 1817 году. Общества Измайловского полка в 1821, и, наконец, Северного Общества, он более других "северян" был близок к Пестелю, переписывался с главой Южного общества и вел с ним переговоры о соединении Северного и Южного. Уже в 1824 году он стал членом Думы — тройки, руководившей Северным обществом — вместе с Никитой Муравьевым и Сергеем Трубецким; позднее Трубецкого перевели в Киев, и на его место был избран в Думу новый член Общества, Кондратий Рылеев. Они и прежде тянулись друг к другу, теперь же стали неразлучны. Во многом они не соглашались и спорили, но ведь споры не разрушают дружбы, а укрепляют ее.

О чем спорили?

Позднее Оболенский рассказал о чем. Например, осенью 1825 года — незадолго до восстания — Оболенский ставил перед самим собой и перед Рылевым сложный вопрос:

— Имеем ли мы право, как честные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве, составляющем наше отечество, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения налагать почти насильственно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего, если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития?

Жан-Жак Руссо за несколько десятилетий до Оболенского предвидел подобный вопрос: "Если человек не хочет свободы, — отвечал на него Руссо, — его следует принудить быть свободным под страхом смертной казни."

Рылеев ожесточенно опровергал Оболенского. Вот что он говорил — в позднейшем пересказе Оболенского :

— идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе;

— если идеи не порождены себялюбием или своекорыстием, то они суть только выражения несколькими лицами

того, что большинство чувствует, но не может еще выразить;

— едва эти идеи сообщаются большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением.

На это Оболенский:

— необходимо выждать, пока чувство справедливости и правды созреет в сознании народа — пока же просвещать его и не навязывать ему незрелые суждения.

Рылеев горячился все больше, но обычно из этих словесных схваток выходил победителем. "Много и долго спорили мы с Кондратием Федоровичем, — напишет в своих воспоминаниях стареющий Оболенский, — или, лучше сказать, менялись мыслями, чувствами и воззрениями. Ежедневно, в продолжение месяца и более, или он приходил ко мне, или я к нему, и в беседе друг с другом проводили мы часы и расставались, когда утомлялись от долгой и поздней беседы".

Рылеев одерживал верх, но суждения такого рода вызывали в нем бурю — может быть негодования, может быть сомнений. Незадолго до этих споров его посетил молодой Хомяков, отправлявшийся в Испанию, и Хомяков со страстной убежденностью твердил, что испанская революция есть преступление перед народом, что вооруженное меньшинство не имеет право внешнею силой изменять государственное устройство. Рылеев пылко опровергал гостя, потом внезапно, несмотря на ненастную осеннюю ночь, убежал из своей квартиры без шапки. Он был раздосадован, возмущен, но и смущен. Споря с Оболенским, он уже никуда без шапки не убежал, но Оболенский оставался при своих колебаниях.

Оболенский был солдат. Сомнения он обсуждал с другом или, редко, с друзьями; когда же до дела дошло, он спрятал их за пазуху и о них забыл. Перед четырнадцатым декабря Оболенский оказался военным руководителем всей операции. Накануне он был на совещании у Рылеева и потом с подлинным мужеством рассказал о нем на допросе — через два месяца после того списка, 14 марта:

"Рылеев и Пушчин надели шинели, чтобы ехать, я сам

уже прощался с ним, как Рылеев при самом расставании нашем подошел к Каховскому и, обняв его, сказал:

— Любезный друг, ты сир на сей земле, ты должен собой пожертвовать для Общества — убей завтра императора.

После сего обняли Каховского Бестужев, Пущин и я. На сие Каховский спросил нас, каким образом сие сделать ему. Тогда я подал мысль надеть ему лейб-гренадерский мундир, и во дворце сие исполнить...”

Еще два месяца спустя, 9 мая, Оболенский получил от Следственного комитета вопрос:

“При вас ли Якубович предлагал, что надобно разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и итти ко дворцу?

Объясните, кто первый восстал против сего предложения и кто настоял о отвержении оногo?”

И отвечал с благородным бесстрашием:

“Якубович при мне действительно предлагал разбить солдатам один кабак по крайней мере для возбуждения рвения солдат. Его красноречие и, особенно мнение, основывалось на опыте о солдате нашем, что ему нужны сильные средства для возбуждения к действию, увлекли меня и еще других к согласию на его предложение или, лучше сказать, к одобрению его мысли. Но Рылеев первый восстал против сей мысли, говоря, что мы подвигаемся к поступку великому, не должны употреблять низкие средства, и решительно отверг предложение Якубовича; к нему вскоре присоединился я, Бестужев, Арбузов и прочие, и таким образом не имело сие предложение никакого действия. Что же касается до грабежа и выноса хоругвей из церкви, я предложения сего от него не слыхал”.

На площади Оболенский не предавался ни сомнениям, ни колебаниям. Он был организующим центром восставших. Увидев, что граф Милорадович подъехал к солдатам и ведет с ними разговор, пытаясь убедить их сложить оружие, Оболенский подошел к нему и сказал:

— Ваше сиятельство, извольте отъехать и оставить в покое солдат, которые делают свою обязанность.

Когда же Милорадович дважды не повиновался, Обо-

ленский, взяв у солдата ружье, размахнулся и нанес графу штыком глубокую рану.

На площади должен был начальствовать Трубецкой, который, однако, не явился. И тогда обязанности диктатора взял на себя князь Оболенский. Он действовал со всей решительностью и твердостью, но уже было поздно — через час артиллерийская картечь обратила мятежников в бегство.

Он совершил там, на площади, еще один поступок. Дело в том, что месяца за два до восстания Оболенский принял в Общество своего товарища, тоже, как и он, адъютанта, который жил в Коломне в одном доме с Оболенским, — Якова Ростовцева, двадцатидвухлетнего энтузиаста и поэта; накануне событий Ростовцев проник к Николаю и предостерег его. Согласно официальной легенде, он никого не назвал. Николай, будто бы, ему сказал:

— Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству, — и не называй.

Ростовцев 14 декабря оказался на площади — правда, со сторонниками Николая. Судьба столкнула его с Оболенским, который наградил прежнего приятеля пощечиной.

Вот кому Рылеев послал 21 января поздравление в стихах.

3.

Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

А. Пушкин. Андрей Шенья

Прошло почти полгода. В конце июня Оболенский, уже измученный долгим одиночеством, допросами, мраком, заметил в глубине своей камеры, в самом дальнем ее углу, два кленовых листа — их незаметно принес и там положил в стороне тот же Никита Нефедьев. Оболенский стал

всматриваться в каждый из них — в темноте каземата трудно было разглядеть наколотые на листах буквы. Наконец он прочитал:

Мне тошно здесь, как на чужбине,
 Когда я сброшу жизнь мою?
 Кто даст крыле мне голубине,
 Да полечу и почию.
 Весь мир как смрадная могила!
 Душа из тела рвется вон.
 Творец! Ты мне убежище и сила,
 Вонми мой вопль, услышь мой стон:
 Приникни на мое моление,
 Вонми смирению души,
 Пошли друзьям моим спасенье,
 А мне даруй грехов прощенье
 И дух от тела разреши.

Это было предсмертным стоном человека, с несомненностью ожидавшего казни. Рылеев еще верил в милостивый приговор для других, но для себя не ожидал ничего, — только смерти; он давно смирился с этой мыслью, не раз говоря на следствии, что почитает себя "главнейшим виновником происшествия 14 декабря", который, как записал уже Комитет с его слов, "мог остановить оное, и не только сего не подумал сделать, а, напротив, еще преступною ревностью своею служил для других... самым гибельным примером". Рылеев все эти месяцы готовился к тому, чтобы встретить смерть с гордым спокойствием, достойным революционера. Он, конечно, был измучен: за пять месяцев — ни одного дня покоя. Пять долгих допросов, двенадцать очных ставок, семьдесят восемь раз — письменные ответы на "вопросные пункты". А еще был допрос, учиненный Рылееву лично Николаем, допрос, обманувший Рылеева: благородный, чистый и доверчивый, он не представлял себе низости в своем высочайшем собеседнике. Он верил в людей и даже в царя. Веря в людей, он писал в конце первого же своего показания, данного поздним вечером 14 декабря: "...прошу одной милости: пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени такая сила, перед которою они не в состоянии были устоять". Через два дня, в письме Николаю: "Прошу об одной милости: будь милосерд

к моим товарищам: они все люди с отличными дарованиями и с прекрасными чувствами", Еще четыре месяца спустя, в письме императору от начала апреля: "Я виновнее их всех; я, с самого вступления моего в Думу Северного общества, упрекал их в недеятельности; я преступной ревностью своею был для них самым гибельным примером, словом, я погубил их; через меня пролилась невинная кровь. Они по дружбе своей ко мне и по благородству не скажут сего, но собственная совесть меня в том уверяет. Прошу тебя, государь, прости их... Казни меня одного..." Все эти мольбы, а, вернее, советы дышат верой — доверием даже к врагам. Николай Бестужев в своих "Воспоминаниях о Рылееве" писал:

"... он не изменил своей всегдашней доверчивости и до конца убежден был, что дело окончится для нас благополучно. Это видно из его записки, посланной ко всем нам в равелине, когда он узнал о действиях Верховного Уголовного Суда; она начиналась следующими словами: "красные кафтаны (то есть сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас Бог, государь и благомыслящие люди...", — окончания не помню".

Верховный Уголовный Суд был назначен царем 1 июня, начал заседать 3-го, а приговор вынес в начале июля, стихотворение написано, надо полагать, позднее записки. В записке Рылеев еще верит в государя и благомыслящих людей. В стихотворении остается одна только вера — в творца, как в высшую справедливость и последнюю опору. Не странно ли, что в новейших собраниях сочинений Рылеева под этим стихотворением стоит неопределенная дата: "январь-май 1826" — то есть указание на то, что оно создано в промежуток времени между январем и маем? Однако ясно, что большие кленовые листья бывают в северных широтах не ранее конца июня, а скорее — начале июля. Из этого следует, что дата должна быть более четкая — первые числа июля. Это очень важно: перед нами — предсмертные стихи, созданные за несколько дней до казни.

Когда Рылеев в первом стихе говорит "здесь" — он имеет в виду не Алексеевский рavelин, не Петропавловскую

крепость, даже не николаевский Петербург, а мир, в котором победило зло — Россию; первый стих связан с пятым и шестым:

Весь мир как смрадная могила!
 Душа из тела рвется вон.

В сознании Рылеева должен был произойти полный переворот, чтобы этот светлый и неизменно верящий в добро человек, этот доверчивый и чистейший романтический певец отверг и проклял "весь мир", увидел, что он тошен и мерзок.

Кто даст крыле мне голубине,
 Да полечу и почию.

Оболенский знал псалмы библейского царя Давида, да и другие читатели той поры их знали; поэтому два стиха напоминали о других, о содержании всего псалма, известного под номером 54. В нем призыв к высшему судье и надежда, что он покарает ныне могущественных врагов:

"Внемли мне, и услышь меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь

От голоса врага, от притеснения нечестивого; ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня.

Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня;

Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня.

И я сказал: "Кто дал бы мне крылья как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы;

Далеко удалился бы я, и остался бы в пустыне;

Поспешил бы укрыться от вихря, от бури."

...Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад; ибо злодейство в жилищах их, посреди их.

...Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи.

...Ты, Боже, низведешь их в ров погибели; кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих..."

Вот какое неистовое проклятие врагам и какой победенный страх смерти слышался в последнем стихотворении Рылеева — эта библейская ярость и отчаянная тоска, соединенная с надеждой, звучат в нем благодаря стихам, вызывающим в памяти весь Давидов псалом:

Кто даст крыле мне голубине,
 Да полечу и почию.

Может ли быть что-либо для свободного человека постыднее, нежели уничтожение перед своими палачами? Рылеев страшился столь естественной, но и столь ненавистной ему слабости — он отказался от последнего свиданья с женой и дочерью, не желая ослабеть волей. Он отнюдь не делал театрального жеста, когда священнику, провожавшему его к эшафоту, сказал: "Положите мне руку на сердце и посмотрите, скоро ли оно бьется."

Евгений Оболенский рассказал об этом последнем дне Рылеева, рассказал сдержанно и скупно — правда, через много лет: "Я не спал, нам велено было одеваться. Я слышал шаги, слышал шопот, но не понимал их значения. Прошло несколько времени, слышу звук цепей, дверь отворилась на противоположной стороне коридора. Цепи тяжело зазвенели, слышу протяжный голос друга неизменного, Кондратия Федоровича: "Простите, простите, братья!" — и мерные шаги удалились к концу коридора. Я бросился к окошку. Начинало светать: вижу взвод павловских гренадер и знакомого мне поручика Пальмана, вижу всех пятерых, окруженных гренадерами с примкнутыми штыками. Знак подан, и они удалились. И нам сказано было выходить, и нас повели тоже гренадеры, и мы пришли на эспланаду перед крепостью. Все гвардейские полки были в строю, вдали я видел пять виселиц, видел пятерых избранных, медленно приближавшихся к месту роковому... С нами скоро кончили, переломили шпаги, скинули одежды и бросили в огонь; потом, надев халаты, тем же путем повели обратно в ту же крепость".

Исполнилось то, чего так страстно желал Рылеев, о чем с такой проникновенной силой заклинал в своем поэтическом завещании, наколотом на двух листьях старого клена и тайно переданном самому дорогому из братьев по революции — Евгению Оболенскому.

Оболенский же, переживший казнь гражданскую, был в тот же день, когда Рылеева повесили на кронверке Петропавловской крепости, 13 июля — отправлен в Нерчинские рудники.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городесвете".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже — 3, 5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

ПИСАТЕЛЬ И МИР



Эмиль КОГАН

УГОЛ РАСХОЖДЕНИЙ

Русское издание этой книги* представляет отснятые машинописные листы со следами авторской правки — прямо западный Самиздат.

Ужатые до странички, до полстранички главы, конструктивные фразы напоминают конспект лекции по точной науке. И только заголовки: "Дверь к самоедам", "Манилов или Фрейд?", "Зачем бодаться с правдой?", — диссонируют со стилистической голизной изложения.

Д. Панин спорит с нашим самым крупным писателем, попросившим "вождей" остаться в президиуме, Панин обвиняет Солженицына в "соглашательстве", в "оппортунизме". Ему "представляется совершенно недопустимым разговаривать с "вождями" через голову народа". Панин верит, что "революция в СССР назрела и абсолютно необходима".

Ну, хорошо, можно спорить насчет вождей: обойтись нам или нет без многолетнего опыта их руководящей работы, сразу ли их к стенке или сначала к зданию нюрнбергского

* Дмитрий Панин. Солженицын и действительность. На правах рукописи. Париж, 1975.

областного суда. Но что до необходимости революции... Нам, признаться, думалось, что, раскатившись в эмиграции по разным политическим лузам, здесь-то уж мы единодушны. Что наши надежды не передаются словами "народная революция", "вооруженный отпор". Ан нет.

Но самое удивительное даже не это. Самое удивительное — другое. Казалось бы, крутое обращение с Солженицыным, форменная разделка его под орех могут покоробить даже и тех, кто не разделяет его воззрений. Казалось бы, взгляд Панина на читателя как на своего безусловного единомышленника и вера в неотразимую силу своих аргументов может только раздражать. Нет, этого не происходит. Наоборот, к автору испытываешь ничем не скрываемую симпатию.

Потому что рубя с плеча и от сердца, вкладывая всего себя в удар, Панин не оставляет за душой ни задней мысли, ни каверзной подковыры. И даже то небольшое в книге, что связано с личными отношениями, с кошкой пробежавшей *, — выдано с такой бесхитростной, детской откровенностью, что обидеться нет никакой возможности. Солженицыну везет на противника: прямодушного и лояльного даже в язвительности. От книжки должно было повеять на него, как повеяло на читателя, духом лагерного "микробратства", суровым зимним диспутом в шарашке, неистовым, "неискаженным" Сологдиным...

Однако, самое время уйти от личностей и обрисовать читателю характер и угол расхождений. Одно из самых горячих касается Идеологии. Панин отказывается видеть в ней добросовестное заблуждение вождей. Для него она — овечья шкура, прикрывающая врожденные инстинкты советской государственности. И руководители страны — не случайные у власти люди. Они вышли к финишу в процессе "строгого и специфического отбора", в котором "честного человека отсекут на уровне райкома". Вожди, если и откажутся от Идеологии, то для того лишь, чтобы вместо красного выбросить черное знамя нацизма. Игра на национальных струнах

* Панин упрекает Солженицына в "искажении образа Сологдина", для которого он послужил прототипом. Подробно об этом читайте в его "Записках Сологдина", Франкфурт, 1973.

этих индивидуумов кажется Панину двусмысленной и неосторожной.

Обращение волка в вегетарианство — затея пустая и вредная, поскольку дезориентирует "россиян", настаивает автор. Протягивая руку вождям, Солженицын к тому же подает дурной пример Западу, который только и ждет подмахнуть вождям очередное хельсинкское соглашение.

Камня на камне не оставляет Панин от Солженицынского проекта освоения Сибири. Зачем, когда дома столько пустующей и неухоженной земли, когда дома столько дел?

Панин вспоминает, что рост учеников-ремесленников, которых ему довелось встречать в Воркуте, не превышал полутора метров. Таковы эффекты мороза, ветров, полярных сумерек, отсутствия зелени. Автор сомневается, чтобы и китайцам была нужна наша Сибирь: их влекут жизненные пространства южных соседей.

С цифрами в руках Панин доказывает экономическую нецелесообразность и нереальность проекта. Теперь не столыпинские времена. Изголодавшийся и изверившийся народ отнесется к сибирскому призыву точно так же, как в свое время — к хрущевской кукурузе. "Загнать людей в зону вечной мерзлоты удастся только насильственно". И Панин вскрывает в языке письма затаенные авторитарные акценты.

"Чем быстрее, тем спасительнее, — цитирует писателя Панин, — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодежи) с далеких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на ее Северо-Восток", — подчеркивает Панин четырежды промелькнувший в одной фразе ЦЕНТР.

Солженицын, по мнению Панина, не просто пытается говорить с волками по-волчьи, он легко входит в их соображения и должен будет, избрав себе недостижимую разумным путем цель, принять их средства. Панин обвиняет писателя не больше не меньше как в бессознательном сталинизме...

Сила и слабость панинского формального анализа, может быть, в его чрезмерном формализме. Солженицын не экономист, не социолог, не землепроходец. И одному человеку,

даже нобелевскому лауреату, не заменить многолетних трудов ученых и специалистов, приговоренных к молчанию. Роль же писателя — стимулировать общественное сознание, раздвигать его горизонты. Проект Солженицына, наверное, уязвим экономически. Но остается еще Сибирь метафизическая, символическая. Она выражает отчаяние современного человека перед лицом земли, истерзанной неумелым и хищническим хозяйствованием, изуродованной бетоном и фабричными испражнениями. Ностальгическую тягу к "отстойнику", к спящей в блаженном пару девственной земле, лесам.

Но слышится в его "Сибири" и нечто специфическое, советское. Что прикажете делать с нашим уродливым, запутанным хозяйством, движимым не товарно-денежными естественными мотивами, а звонком из обкома, а идеей фикс дежурного вождя? Что прикажете делать с экономикой, не справляющейся со своей основной задачей: кормить и одевать население, а годной лишь выдавать на-гора ракеты, танки, спутники? Расчистить ее авгиевы конюшни, умерить бешеное вращение в холостую, приспособить к человеку? Да не легче ли построить все заново, на свежем, неизгаженном месте!

Утопия, бегство от действительности, заключает Панин. Нашупывание проблемы, мучительные поиски выхода из экологического и политического тупика, возразим мы.

Всех обвинений Панина мне не перечить. Любитель литературных сражений получит от книги удовлетворение. Мой лишь ему совет: не проглядеть того, что сильнее магнитного поля сближает романиста с его бывшим персонажем.

Представлять Панина буревестником, зовущим к шторму из парижского кафе и из-под американского ядерного зонта, было бы упрощенно и несправедливо. Хотя бы потому, что при первых же выстрелах Панин первым самолетом вылетел бы в Москву. Наконец, чисто революционные действия, сцены в духе Эйзенштейна предусматриваются им лишь в финальном акте широкой политической программы, или, как он ее определяет, "революции умов". Автор дела-

ет ставку на рост стихийного недовольства, на неустанное просвещение трудящихся как внутри страны, так и извне, благодаря активному и независимому радиовещанию...

Но разве самосовершенствование по Солженицыну, обретение человеческого и гражданского достоинства поголовным отказом "жить во лжи" не означает разрыва с существующим порядком вещей? Разве "нравственная революция" Солженицына менее радикальна по своим последствиям?

Мы уже отметили прозвучавшее в сибирском проекте страстное желание конца этому бесчеловечному, безнадежному миру и начала новой эры, расцветшего на целине вертограда. Здесь преломился старинный эсхатологический позыв, "великая славянская мечта о прекращении истории"*.

Солженицынская Сибирь — это, в сущности, вытесненная и сублимированная потребность революции.

Писатель и не собирается "осуждать все вооруженные возмущения нашего народа", что можно вынести из критики Панина. Не кто иной, как Солженицын, впервые, подробно, с сочувствием и гордостью поведал миру в "Архипелаге ГУЛАг" о лагерных и народных восстаниях в стране Советов.

Пойдем дальше. "За последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе могла еще только снизиться," — говорит Солженицын. "Мало кого потянет после конца рабства сразу к вершинам демократии... Это было бы непросчитываемой роскошью," — вторит ему Панин.

Оба они видят неизбежным и необходимым период авторитаризма "после конца рабства". А христианскую мораль — основой будущей русской государственности. Панин вводит в ее конструкцию понятие "христианской авторитарности". Право же, политическая межа проходит не между Паниным и Солженицыным, а между ними и теми, кто уповает на эволюцию режима, на конвергенцию и реформизм,

* О.Мандельштам. Собрание сочинений в двух томах. Том второй стр. 331

а религию почитает частным делом, вопросом совести каждого отдельного гражданина.

Позиции обоих по большинству тем настолько родственны, что диспут напоминает порою семейную ссору. А семейные ссоры бывают, как известно, самыми громкими. Читатель, взятый в свидетели, не должен ее слишком переоценивать, чтобы не оказаться в конечном счете в нелепом положении.

Единственное существенное разногласие связано с поведенью самосовершенствования. Панин считает несправедливым прививать комплекс вины и без того замученным и замордованным советским людям. Рабская мораль, столь возмущающая Солженицына, то есть работа спустя рукава, всеобщее воровство, обман и разгильдяйство, уход с головой в свою бытовую раковину, — на самом деле формы пассивного сопротивления тоталитаризму, разъедающая его коррозия. Панин напоминает Солженицыну старый лагерный принцип: раб снаружи, свободный внутри. Незачем призывать и население "большой зоны" к отказу от этой маскирующей двойственности. Да и какое у нас, собственно, право отсюда, из-за границы, готовить людей к жертве, к роли политических камикадзе. Ничего мы этим не добьемся, разве что сгноим по психушкам и тюрьмам цвет нации.

В один прекрасный день система, подточенная мощным народным брожением, которое нужно готовить не покладая рук, рухнет в результате всеобщей политической забастовки. И свобода нас встретит радостно у входа... И отпадет в одночасье, как корка зажатой раны, рабская мораль, и начнется жизнь на новых нравственных и социальных основах. Христианская мораль не требует изнурительной подготовки, аскетической гимнастики души. Она — естественное, изначальное состояние человека, освобожденного от необходимости лгать и поклоняться идеологической мамоне. У нас нет ни времени, ни вкуса к покаянию. Пусть каются наши палачи. Нам же следует, не теряя времени, продумать новые политические формы, разрабатывать завтрашнюю государственность, которая позволит России и "россиянам" реализовать материальный и духовный расцвет.

Читатель понимает, насколько далеки эти радужные перспективы от мыслей Солженицына. Ни "поспешное сотрясение", ни политические реформы не обеспечат нам благоденствия. "И пока мы в себе не превзойдем праха — не будет на земле справедливых устройств — ни демократических, ни авторитарных"* . А жертвенный пример новых "первых христиан" способен лишь ускорить духовное перерождение большинства.

Любая власть, по словам одного из героев "Августа четырнадцатого", — "мертвая жаба". Ждать от нее творческих импульсов не приходится. Все, что от нее требуется, — не мешать людям жить по совести и своему разумению. Властям отпущено ограждать общество от политического своеволия, от издержек свободы. Солженицын понимает под ними — неумеренные категориальные требования, расточительные забастовки, деятельность подрывных тоталитарных организаций, порнографию. Эту санитарную функцию можно поручить и "второстепенным личностям", пусть даже вождям, если сумеют шагать в ногу со временем, если коснется их благодать. А нет, недолго и продержатся они во главе общества, построенного на любви, милосердии и согласии.

Главное — избежать кровавой вакханалии и вытекающего из нее рокового поворота в новую гибельную ситуацию (ядерная реакция — неуправляема). Ради этого стоило бы, пожалуй, потерпеть некоторое время постылые рожи вождей в президиуме...

Если читателя не отпугнет излишне полемический и учительский тон книги, он выйдет к очень важному размышлению: так ли уж несовместимы "революция умов" Панина и "революция душ" Солженицына? И несмотря на категорическое "нет" Панина, читатель волен оставаться при своем мнении. Оба подхода обогащают и как бы компенсируют друг друга. И уж во всяком случае позволяют объединить вокруг себя максимально широкий круг сторонников.

* А.Солженицын. Архипелаг ГУЛаг, III-IV. ИМКА — ПРЕСС, стр.512.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

Автобиографическое повествование в двух книгах

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ВТОРАЯ

"КРУШЕНИЕ", 210 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Отрицание отрицания
Московское Радио
Первый фельетон
Докажите, коли сумеете
Дело Абрама Великовского
Совесть партии
Расплата
Никита Иванович и другие
Надо жить
Aqua riga
Столоверчение
Скорняк поневоле
Снова бунт
...И снова иллюзии
Самая еврейская газета
В "черном списке"
Дебют
Литературный репортер
Неуправляемые ассоциации
Репликист Миша Синельников
Лимит на Пастернака
Комедианты
Правда и ложь "Литературки"
Гайд-Парк при социализме
Александр Чаковский
Горечь свободы
Последний день
Разговор с Леонтием Кузьмичом (вместо послесловия!)

Цена книги в Израиле — 27 лир, при заказе в издательстве — 24 лиры. При одновременной покупке первой и второй книг цена в магазине — 50 лир, в редакции — 44 лиры. Стоимость за границей — 3 доллара.

Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив. Издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать КНИГУ

Владимир СОЛОВЬЕВ

ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

Контрасты Исаака Бабеля

ИНОСТРАНЕЦ В КОНАРМИИ

Бабель часто протирал очки — ему хотелось видеть еще лучше, чем он видел. Зрением он был одарен сверх нормы, сверх меры, а ему все казалось мало. У него были натренированные глаза, любопытство было его страстью, и ничто его не останавливало — ни инстинкт самосохранения, ни даже моральные препоны. Он заставил себя взглянуть в специальный глазок и увидел, как приподнялось в огне тело — это было на кремации его друга поэта Эдуарда Багрицкого. Другого своего друга, джазиста и певца Леонида Утесова, он повел к клетке с матерым волком — хозяин, просунув между железными прутьями палку, дразнил и в кровь избивал зверя. "Скажите, чтобы он прекратил", — прошептал Утесов. "Человек должен все знать, — сказал Бабель. — Это некрасиво, но любопытно."

Некоторые считают, что любопытство его и погубило — дружба с женой то ли Ягоды, то ли Ежова, тогдашних наркомов госбезопасности. Ах, это наше суетливое желание свалить вину с больной головы на здоровую, обелить время, подсластить его, подольститься к нему!..

Он поглощал впечатления, как мощная губка, всасывая их в себя с жадностью и без разбора. Когда Маяковский в "Лефе" напечатал его "конармейские" и "одесские" рассказы, они показались маловероятными, фантастическими, выдуманными. Именно в связи с полемикой вокруг Бабеля Горький написал: "Человек — существо физиологически реальное, психологически — фантастическое." Бабелевская проза, и без того сложная и трудная, обрастала эпитетами, ярлыками и легендами. Одни находили в ней "эпос революции", другие — "поэзию бандитизма". До сих пор спорят, к какому разряду Бабеля как писателя причислить: к натурализму? к романтизму? к реализму? к эстетству?

Паустовскому он сказал: "На моем щите вырезан девиз: "Подлинность". Дневниковая тетрадка Бабеля времен конармейских походов чудом сохранилась — в ней конспекты будущих глав "Конармии": литературные сюжеты полностью совпадают с реальными.

Ничто так не поражает, как реальность.

Реальность кажется фантастикой, когда впервые вводится в литературу.

На новый, изменившийся мир мы смотрим старыми глазами. Мы не успеваем сориентировать наше зрение на резко сдвинутые координаты и измененные параметры реальности. Художник приходит в мир, чтобы снабдить нас новым зрением.

Самыми яростными оппонентами "Конармии" были конармейцы. Их вождь СМ. Буденный шел рассказы Бабеля "бабыми сплетнями", "небылицами", "клеветой на Конармию". А Всеволод Вишневский писал пьесу "Первая Конная" как полемическую к бабелевской "Конармии": "Моя книга — книга рядового буденновца, до известной степени ответ Бабелю... Несчастье Бабеля в том, что он не боец. Он был изумлен, испуган, когда попал к нам, и это странно-болезненное впечатление интеллигента от нас отразилось в "Конармии"... Верьте бойцу — не такой была наша Конармия, как показал Бабель".

Сейчас трудно даже сказать, чем больше всего поразил читателей Бабель — новым зрением или новой действитель-

ностью? Скорее всего, сочетанием того и другого, новизной и новаторством литературной комбинации. До определенного времени в сознании читателей реальность и литература существуют вроде бы отдельно. Маяковский на диспуте в 1927 году сказал: "Мы знаем, как Бабеля встретили в штывы товарищи, которым он показал свои литературные работы. Они говорили: "Да если вы видели такие беспорядки в Конармии, почему вы начальству не сообщили, зачем вы все это в рассказах пишете?.."

Признавая жизненные факты, оппоненты Бабеля считали, что им нет места в литературе. С подобным отношением Бабелю пришлось столкнуться еще до революции, когда Горький решил напечатать в "Летописи" несколько его рассказов — "столь же коротких, сколь и рискованных." Эти рассказы и послужили поводом для привлечения Бабеля к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий режим и за порнографию. "Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда."

Я не знаю, что полагалось по дореволюционному кодексу за ниспровержение режима и порнографию — при новом режиме Бабель получил сполна: за клевету, за очернение, за талант. Буденный своей критикой предварил — а может быть, предсказал или даже подсказал? — насильственную его смерть в сталинском концлагере.

Дореволюционные рассказы Бабеля достаточно традиционны, хотя и более откровенны и жестки, чем у его очевидных учителей — Чехова и Шолом-Алейхема.

Горький отправил Бабеля в люди. "Командировка" эта продлилась семь лет — с 1917 по 1924 год, за это время Бабель, по его же словам, перепробовал тысяча шестьсот постов и должностей: был солдатом на румынском фронте, служил в Чека и Наркомпросе, в продовольственных экспедициях, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском Губкоме и т.д.

Бабель видел будущих своих героев вблизи, но смотрел на них еще и издали: не только как на товарищей по конар-

мейским походам, но и ещё как на исторических персонажах. Он написал книгу о людях, которые пытались во что бы то ни стало изменить прежние очертания мира. А Бабеля упрекали в том, что он был чужим в армии, иностранцем с правом удивления.

Бабель и в самом деле отличался от рядовых конармейцев — не только образовательным цензом, социальным происхождением и национальностью, но и той сверхзадачей, которую он ставил перед собой, проводя дни и ночи в военных походах.

Роль летописца — особая роль, а Бабель вписал конармейцев в русскую литературу и в мировую историю. Расстояние — хотя бы умозрительное! — здесь необходимо, ибо, как известно, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Роль художника, летописца, историка, конечно же, — особая роль. Надежда Мандельштам пишет в своих воспоминаниях: "Одиночество — это не отсутствие друзей и приятелей — их всегда вдосталь — а жизнь в обществе, которое не слышит предостережений и продолжает идти с закрытыми глазами по страшному братоубийственному пути, увлекая за собой всех и каждого". В этом отношении Бабель и в самом деле был иностранцем — в Конармии и в Одессе, в жизни и даже в литературе. Иначе он не стал бы большим русским писателем.

"НЕИСТРЕБИМА ЛЮДСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ"

В "Конармии" две правды — документальная и историческая. Причем, одна не перечеркивает, не перекрывает другую, их контрастное, конфликтное совмещение и составляет главный художественный эффект трагической и провидческой этой книги.

Согласимся с оппонентами Бабеля — книга эта и в самом деле в высшей степени двойственна и противоречива. Но не в большей степени, чем описанная Бабелем действительность. Даже Ленин, свидетель необъективный, пристрастный и заинтересованный, и тот в работе "Пророческие слова" писал:

"Мыслима ли многолетняя война без одичания как войск, так и народных масс? Конечно, нет. На несколько лет, если не на целое поколение, такое последствие многолетней войны безусловно неизбежно."

Ленин ошибся только в сроках: вместо нескольких лет или целого поколения — по сю пору, и конца не видно...

Бабель рассказал в "Конармии" об одичании на войне и без того диких людей, о преступлениях, которые они совершают не по нужде, но по вдохновению. Рассказал об эскадронном Трунове, который расстреливает пленных поляков, о припадочном Акинфиеве, который изощренно издевается над дьяконом Агеевым, о болезненно-мнительном Никите Балмашеве, который без всяких на то причин подозревает окружающих в измене — чем не предтеча сталинской шпиономании 1937 года? — о пастухе Матвее Павличенке, который считает убийство врага помилованием ему, и не убивает, а топчет бывшего своего барина:

— Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно узнать, какая она у нас есть?..

А вот записи из дневника Бабеля:

"Неистребима людская жестокость."

"Ненавижу войну. Какая тревожная жизнь!"

"Почему у меня непроходящая тоска? Разлетается жизнь, я на большой панихиде."

Первоначально рассказы о Конармии выходили с подзаголовком "Из дневника", и герои имели подлинные фамилии — в том числе, будущие маршалы; впоследствии, под цензурным нажимом, Бабель заменил их на вымышленные.

Надо было обладать большим воображением и не меньшим цинизмом, чтобы считать рассказы Бабеля "эпосом революции" или "поэзией бандитизма". Бабель был в ужасе от революции, и ужас застилал ему глаза и подминал под себя любые другие эмоции. Впрочем — не все: любопытство преоб-

ладало даже над ужасом! Он не мог оторваться от кровавой бойни, и даже непосредственная угроза лично ему — как интеллигенту, как гуманисту, как еврею, как очкарику — не повлекла за собой ни бегства, ни забвения, ни забвения.

Бабель в ужасе и от самих преступлений, но — еще больше — от их дальних последствий, ибо следы преступлений, как известно, ведут не только в прошлое, но и в будущее. Жестокость, садизм, самосуд, бандитизм сопутствовали революции либо были порождены ею. Попытка приспособить Бабеля к советской литературе, легализовать его как явление — и в 20-е годы, и в 60-е, когда он был заново издан после четверти века забвения и запрета, — привели критиков к намеренно ложному — для пользы дела! — выводу, что в "Конармии" происходит совпадение нравственной позиции писателя, революционного действия и исторической оценки, ибо Бабель будто бы не приписывает революции преступлений своих героев, но вместе с революцией их осуждает.

Ведь писатель и в самом деле заложник вечности в плену времени и в быстротекущей современности представляет будущее и историю, а оба эти понятия казались принадлежащими потомкам и последователям бандитов-конармейцев.

Спустя десять лет после "Конармии", в позднем своем рассказе "Иван-да-Марья", Бабель возвращается к уже описанному им прежде историческому и психологическому типу. Капитан парохода, на котором находится оружие для фронта, Коростелев — бегун, драчун, неустроенная душа, пьяница и шовинист: Бабель описывает его столкновение с комиссаром парохода, латышом. Приговор, однако, ему выносит на этот раз уже не Бабель, но революция. Командир чапаевской сотни Макеев расстреливает Коростелева. Рассказ трагический, но характерный: жестокость против жестокости.

И ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ...

В "Конармии" отношение Бабеля к своим героям сложное, колеблющееся, нерешительное: что тому причиной — душевные колебания или цензурные рогатки? В дневнике он записывает: "Что наш казак? Пласты: барахольство, удаль-

ство, профессионализм, революционность, звериная жестокость".

Склонный к правде, как бы противоречива и сложна она ни была, Бабель и в характеристиках своих героев остается верен себе: он пишет героев "Конармии" контрастно, сочетая в одном человеке качества, вроде бы противоположные друг другу. Читатель, следящий за их поступками, несколько раз вынужден менять свою окончательную оценку. В итоге оказывается, что окончательной оценки и быть не может, ибо личность и деятельность человека — это динамический процесс, а не однозначный результат. Герои Бабеля одновременно палачи и жертвы, головорезы и страдальцы. Конармейский журналист Галин говорит:

— Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, проберет их железной щеткой...

Бабель рассматривает гражданскую войну не как самоцель, а как путь к будущему — ввиду победы революции это единственное, что ему остается. В позднем своем рассказе "Поцелуй" Бабель написал: "Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера." В этих словах скорее горечь, чем триумф: казалось, да не оказалось, увы!

Под конец некоторых рассказов современный, особенно советский, читатель оказывается в недоумении — занавес не опущен, точки над "i" не поставлены, приговор не вынесен. Ну что можно, к примеру, сказать об эскадронном Трунове, который жестоко, садистски умерщвляет пленных, а на угрозу Лютова "...в штабе не посмотрят на тебя, Пашка..." отвечает:

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят.

Трунов самоотверженно и жертвенно гибнет, а Лютов остается один на один со своей усталой совестью, потому что спор между ними вышел, но умер он, Пашка Трунов, ему нет больше судей в мире, и Лютов — последний ему судья из всех.

Бабеля пытались приспособить к Советской власти — и сравнительно преуспели в этом. Он не стал писать иначе, он перестал писать вовсе: да будет мне позволено молчать, какая есть свобода меньше этой? Я готов цитировать эти слова из статьи в статью, из романа в роман — только этой свободы не было! Бабеля пытались приспособить, а в конце концов убили — так спокойнее и сподручнее.

"Течет передо мною жизнь, а что она обозначает?.. Надо все это обдумать: и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу", — записывает Бабель в дневнике. Он обдумывал, соображал сердцем свою и чужую жизнь, он не только участвовал в описанных им событиях, он еще оценивал их с точки зрения человеческой справедливости и исторической перспективы. И оценка эта была не прямая, а сложная, дифференцированная, и даже Лютов, герой, безусловно, автобиографический, не был задан как несомненно положительный и всегда правый — скорее читатель поставлен в положение Лютова с его необходимостью безотлагательно решать мировые проблемы и искать сложного соответствия высоких идеалов, на которых он воспитан, и открывающейся ему во всей своей отвратительности жизни.

С ЧЕМ КУШАЮТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Бабель неоднократно подчеркивает одиночество, обособленность и отщепенство Лютова в Конармии: "пан писарь", "мгновенный гость", "чистенький", "слюнтяй", "молокан", "очкастый", "четыреглазый", — разве что жидом его только не называют! "... Я устал жить в нашей Конармии", — признается Лютов. Бабель описывает распри Лютова с конармейцами — с припадочным Акинфиевым, с Афонькой Бидой, с эскадронным Труновым. Советские комментаторы обычно безоговорочно встают в этих поединках на сторону конармейцев, а Лютову отказывают в моральном праве судить поступки его товарищей по Конармии, считая, что даже эскадронная дама, общедоступная блядь Сашка, по своим человеческим возможностям выше Лютова, который "все топчется в ветхом мирке своей рефлексии".

Даже Виктор Шкловский, и тот писал: "Трудное дело революция для интеллигента. Он ревнует ее как жену. Не узнает. Бойтся".

И есть чего бояться — не одному интеллигенту!

Одни комментаторы отделяют Лютова от Бабея, — мол, писатель сам над своим героем иронизирует, а другие, признавая тождество автора и героя, рассказывают о том, как Бабель-Лютов медленно избавлялся от абстрактно-гуманистических сетований и шел по пути коллаборации — от гуманизма к революции.

На самом деле из русских прозаиков этого времени (включая Олешу, Тынянова, Булгакова, Зощенко и Платонова) Бабель менее других был склонен к приспособленчеству и сервилизму — правда, в силу скорее физиологических, чем нравственных причин.

Кандидат прав Петербургского университета Кирилл Васильевич Лютов — не только "авторский персонаж", наместник автора и его alter ego в "Конармии". В какой-то мере он — лицо вполне реальное. Ведь именно с документами на Кирилла Васильевича Лютова находился Бабель в Конармии — чтобы избежать хотя бы антисемитского обскурантизма.

Этим же именем он подписывал свои статьи и заметки в армейской газете "Красный кавалерист" — "динамитном шнуре, подкладываемом под армию". Почти полностью совпадают мучительные медитации Лютова с дневниковыми записями Бабея. Так что, если Бабель и иронизирует порой над Лютовым, так это, конечно же, самоирония. Что же до столкновений с некоторыми конармейцами, то даже с уставной точки зрения правда на стороне Лютова — и когда он собирается сообщить в штаб армии о садизме Трунова, и когда он пишет рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения.

Но дело не только в этом.

"Конармия" немислима без автопортрета, без авторского комментария, без авторских резюме, без переживаний Лютова. Тогда бы перед нами была мертвая панорама со штаффажными фигурками, а не живая, пульсирующая, остроконфликтная и трагическая книга.

Революция дана в "Конармии" глазами интеллигента Лютова, и мы видим ее так, как видит ее Лютов: Бабель. О чем здесь спорить, писательство — это занятие интеллигентов, и лучшие книги о революции написаны интеллигентами — от "Двенадцати" Александра Блока и "Белой гвардии" Михаила Булгакова до "Чевенгура" Андрея Платонова и "Конармии" Исаака Бабеля.

"Их интеллигентским глазам, глазам романтиков и идеалистов, часто бывало больно смотреть, не мигая, в раскаленную топку, где в пламени ворочались побежденные классы, победитель душил побежденного, и целые пласты старой, родной им культуры, превращались в пепел. И все-таки они смотрели, не отворачивались и с величайшей правдивостью написали потрясающее, безобразное и ни с чем не сравнимое в своей красоте лицо революции".

Так писала Лариса Рейснер — интеллигентка, ставшая революционеркой.

Иначе думал Исаак Бабель — оставшийся интеллигентом до последнего своего вздоха.

В качестве примера выступления Лютова-Бабеля против расплывчатого, пассивного гуманизма, критики приводят рассказ "Гедали", а точнее ту его часть, где Лютов в ответ на горькие и грустные сетования старика-антиквара отвечает: "Она не может не стрелять, Гедали, потому что она — революция..." Вырванная из контекста, эта фраза, действительно, кажется "железной формулой", однако, содержание этого рассказа более сложное и в формулу не укладывается.

Старый еврей Гедали говорит революции "да", потому что видит в ней совпадение с мечтами и надеждами униженных и оскорбленных: "Революция — скажем ей "да", но разве субботе мы скажем "нет"? "Да", кричу я революции, "да", кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу..."

— ... Поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он контрреволюция, — начинает свое обвинение Гедали. — Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот.

Революция — это хорошее дело хороших людей, но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди.

— Мы не невежды, — продолжает Гедали. — Интернационал ... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают.

— Его кушают с порохом и приправляют лучшей кровью, — с ужасом отвечает старику Лютов, а на деле: Бабель — самому себе.

Наивный и прекрасный гуманизм основателя несбыточного Интернационала особенно контрастно звучит на страшном фоне кровавого и бессмысленного насилия, которому нет оправданий и которому их не ищет автор и герой "Конармии" Уж кому-кому, а Бабелю понятны мечты и страдания, вздохи и слезы старого еврея. Слишком долго ждал мудрый Гедали революцию: больше у него нет времени ждать, и он требует от нее сиюминутного исполнения своих желаний. Он не хочет, чтобы она стреляла — слишком много крови видел он на своем веку. Он смотрит в лицо революции, и не узнает ее.

Лютову бесконечно грустно от этого трагического разрыва между мечтой и реальностью, и не железная формула, а печальное признание крутой неизбежности выстрелов и жертв звучит в его фразе: "Она не может не стрелять, Гедали, потому что она — революция..."

Образ Гедали — центральный в "Конармии". В дневнике Бабель о нем пишет: "Его философия — все говорят, что они воюют за правду, а все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова". Прав Леонид Утесов, когда написал, что в этом рассказе разговаривают не два человека, а один — это диалог Бабеля с самим собой.

Бабель в "Конармии" раздвоился — на русифицированного рассказчика и на жидовизированного и "третьеличного" Гедали. В первоначальных редакциях "Конармии" больше

революционной жестокости и больше казачьего антисемитизма.

Еврейство Бабеля — откровенное, открытое и педалирование: в нем "полтора жида" и как в прозаике и как в человеке. Даже русифицированный Лютов неожиданно снимает маску и признается, что еврей. В "одесских" рассказах Бабель попытался переключить жертвенное в героическое, дав Бене Крику силу, власть и романтический ореол. Это было редкое, временное, мгновенное настроение — больше оно ни разу не повторилось. Бабель был в Конармии не иностранцем с правом удивления, а евреем без права голоса. А может быть, Бабель вообще был еврейским писателем, писавшим по-русски, как Фейхтвангер — по-немецки? Во всяком случае, острое чувство национального отщепенства не покидало его никогда. Константин Паустовский вспоминает, как блестела у Бабеля за выпуклыми стеклами очков слеза и как дрожали его руки, когда он бормотал:

— Я не выбирал себе национальности. Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом...

О буднях и боях Конармии Бабель рассказал не с позиций француза, прикомандированного к армии Наполеона — Шкловский был скорее остроумен, чем точен, а с позиций русского интеллигента и еврея, воспитанного на гуманистических традициях Талмуда и Возрождения, Чехова, Короленко и Шолом-Алейхема. Бабель был живым человеком — не бесстрастным, а страстным, и писал он не иконы, но аналитические портреты, не славословил и не аллилуйничал — писал правду, а не сочинял глянцевиный лубок, как легковесно и неблагородно сказал про Бабеля критик-теоретик Русской партии П. Палиевский, противопоставляя Бабелю Шолохова. Бабель оправдывал преступления конармейцев революцией. Он понимал, что средства не безразличны цели, он знал, что нет таких соображений, во имя которых надо утаивать правду.

Гедали слишком стар для надежд и ожиданий, но сын его

друга Илья Брацлавский уходит в Красную армию ("Сын рабби"). Лютов узнает Илью незадолго до его смерти. Его характер, его душевный облик даны через натюрморт. В сундучке красноармейца Брацлавского все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки поэта, портреты Ленина и Маймонида; прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, а на полях коммунистических листовок теснились кривые строки стихов, страницы "Песни песней" лежали рядом с револьверными патронами.

Увы, не совмещались — Ленин и Маймонид, партийные постановления и библейские стихи, революция и человечность!

Какая там гармония — пропасть разверзлась, катастрофически и неотвратно увеличивалась, и не было никакой возможности навести через нее переправу. Разве что стилистически — сочетая несочетаемое, высокое с низким, старое с новым, русское с иноязычным, главным образом, еврейским.

КОЛЕБАТЕЛЬ СМЫСЛА

Главное стилевое свойство Бабеля: контрастность. Стиль Бабеля отражает его мировоззрение. В одной фразе, в одном ряду сочетает он слова и предметы, бесконечно удаленные друг от друга, противоположные по смыслу и значению, к которым мы привыкли. Происходит, употребляя выражение Ломоносова, "сопряжение далековатых идей". Бабель пишет, к примеру: " Дед мой Лейви-Ицхок был посмешищем города и украшением его." Примеров множество: "Все вышло по-моему и все вышло худо", "Несчастное наше счастье", "...прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами" и т.д. Бабель одновременно дает два семантических полюса, он сталкивает предметы, понятия и слова, и из их противоположности извлекает новый смысл, новые значения: пользуясь выражением Осипа Мандельштама, он — колебатель смысла.

В одном из своих "мемуарных рассказов" Бабель говорит о том, что в детстве его воображение было всегда воспламенено. Ничего из того, что он рассказывал своему гимназическому приятелю, на самом деле не существовало. "Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумывал, но двенадцати лет отроду я совсем еще не знал, как быть с правдой в этом мире". Вспоминая этот эпизод, Бабель пишет: "По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь..." Бабель "соображал сердцем", но сердечные прозрения он сочетал с конкретными, почти натуралистическими, очерково-правдоподобными описаниями. Правда жизни и правда поэзии контрастно сочетаются в его творчестве; они не должны заслонять друг друга — взаимодействуя, они объемлют суровую и прекрасную действительность. Их связь — не по тождеству, а по контрасту: метафорическая связь.

Есть и в "Конармии" рассказы, больше похожие на очерки, на дневниковые зарисовки, в которых Бабель выступает добросовестным протоколистом, архивариусом: они талантливы, но лишены главного свойства бабелевского мироощущения — его контрастности.

Бывало и наоборот — знаменитые, оприходованные уже русской устной речью, расхожие теперь "Одесские рассказы", в которых романтическая еврейская анархия противопоставлена полицейскому порядку, а гордость и благородство остроумных жуликов возникают от социального неравенства, от национальной приниженности, эти красочные рассказы все же проигрывают при сравнении их с одновременно написанной "Конармией". Рядом с трагической поэзией "Конармии" они выглядят анекдотом, картинкой, сказкой, идиллией. Вместо напряженного полюсного противоположения слов, идей, предметов, судеб мы читаем веселые фольклорные истории про одесских Робин Гудов, этих еврейских суперменов с дружелюбными браунингами, позлащенные романтическим флером разбойничьи истории.

Когда юный герой рассказа Бабеля "Первая любовь" стал невольным свидетелем интимных отношений взрос-

лых, когда он увидел в них удивительную, постыдную жизнь всех людей на земле, то он захотел заснуть необыкновенным сном, чтобы забыть об этой жизни, превосходящей мечты. "Одесские рассказы" Бабеля — это сон, забытие, забвение, ностальгия, антиквариат, отступление от жестокой и поэтической правды, пир во время чумы, Итака после Трои...

Впоследствии Бабель возвратится к Одессе и напишет о ней совсем иначе, чем прежде. Он как бы заново перепишет свои детские впечатления и извлечет из них уже не буколическую поэтичность и веселую декоративность, но трагическую поэзию подлинной жизни. "...Я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычур и цветистость", — пишет он Горькому в 1925 году. "Мне жаль, что С.М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей "Конармии", ибо "Конармия" мне не нравится", — скажет он спустя еще пять лет. И, наконец, в 1937 году: "Я сейчас другими глазами смотрю на гражданскую войну". Он "ликвидирует" одесские и конармейские "хвосты", более жестко и трезво оценивая прежних героев. Он принимается за автобиографическую книгу, в которой расскажет о душевном и нервном потрясении мальчика, пережившего звериную жестокость еврейского погрома ("История моей голубятни", "Первая любовь"), о первом драматическом столкновении поэтической мечты и прозаической действительности ("В подвале", "Ди Грассо"), о неожиданном пробуждении чувств ребенка, который из мира убогой реальности, болезненной фантазии и книжной мудрости бежит к тяжелым дамбам у моря, все больше отдаляющим его от дома, пропахшего луком и еврейской судьбой ("Пробуждение"). И не к автору ли "Одесских рассказов" обращает свою взволнованную и убежденную речь автор "Пробуждения": "И ты осмеливаешься писать? Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю жизнь свою двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, — о чем думали четырнадцать лет твои родители?"

КРАСНЫЙ ЦВЕТ РЕВОЛЮЦИИ

Пейзаж Бабеля и в самом деле часто напоминает театральную декорацию — он не безразличен к сюжету, скорее концептуален и ассоциативен. Метафоры Бабеля неожиданны и поразительны — в отличие от своего земляка Юрия Олеши он настаивает не на сходстве, но на эффекте: "А за окном стоит ночь, как черная колонна", "Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа", "Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц", "Солнце встало над его головой, как часовой с ружьем".

Даже цвет, основная пейзажная единица у Бабеля, не декоративен, но семантически: педалирует настроение, ассоциируется с сюжетом. При всей полихромности цветовой палитры Бабеля есть у него излюбленные цвета. В "Конармии" это красный цвет: ему поручена цикловая связь между рассказами и одновременно он служит в качестве концептуально-исторической характеристики. Диктат красного цвета в "Конармии" настойчив и всеобъемлющ: "Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бидя", "Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть", "По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики загремели зарю на своих красных барабанах...".

В отличие от красного света в поэтике символистов у Бабеля красный цвет — это прежде всего реальный цвет крови, пожара, заката, зари. И в то же время — это цвет времени, исторический цвет, цвет жизни и смерти, трагический цвет революции.

Бабель не был романтиком, от жизни он не ждал ни алых парусов и ни птичьего молока, а потом перестал ждать даже того, что жизнь обязана вроде бы дать человеку — минимум, малость, толику...

Кто виноват, что скуден паек, выданный этой эпохой человеческой душе и отнятый у нее вскоре вместе с жизнью? Мечты Гедали и суровая действительность, увы, не совпали.

Критики пророчили Бабелю перемены — в его творческой судьбе; им казалось, что он говорит слишком высоким голосом, чтобы говорить долго. Но сердечная патетика Бабеля, его высокий стиль, его метафоры и гиперболы были вовсе не от декоративных его ухищрений, а от точного, пристального ощущения жизни: не обузданной и не укрощенной русской литературной традицией и бытовой нашей к жизни притертостью. Осип Мандельштам писал: "Нам кажется, что все идет, как надо, и жизнь продолжается, но ведь это только потому, что ходят трамваи".

В том-то и дело, что трамваи ходили, а жизнь остановилась: жизнь человека, страны, времени. Это был великий эксперимент по пресечению человеческого дыхания, а критики продолжали писать о бабелевских преувеличениях — будто может быть большая метафора, чем реальная смерть человека, тем более, ежели она насильственна. Фантастическая охота на человека, начавшаяся в гражданскую войну и достигшая своего апогея в дьяволиаде 37-го года, была Бабелем недвусмысленно предсказана еще в "Конармии", великой книге о русской революции.

В 1936 году Бабель говорил о Багрицком, что его писание — не физиологическая способность, а увеличенные против нормы сердце и мозги, увеличенные против того, что мы считаем нормой и что будет беднейшим минимумом сердца в будущем. Может быть, и Бабель был человеком будущего, но ему не было дано, да он и не хотел, миновать настоящего, которое он воспринимал, как бурную подготовку к будущему.

Мечты Гедали были его мечтами. И как у Гедали, у него уже не было времени ждать. И единственное, что ему оставалось, это, как говорил Жуковский, перенести надежды в мир потомства.

Бабель верил, что "которые дети теперь изготавливаются, должны к хорошей жизни поспеть". Он писал о чужом детстве, вспоминая свое:

"Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня..."

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастливым, Карл-Янкель... не может быть, чтобы ты не был счастливее меня..."

Бабель был близорук и, говорят, выглядел жалким и беспомощным, когда снимал очки. Он был близорук, и его провидения хватало только на свое поколение, трагический ущерб судьбы которого он угадал безошибочно. Дальше он не видел ничего, и когда говорил о следующих поколениях, прислушивался не к внутреннему голосу, но к голосу надежды, которая появляется обычно тогда, когда надеяться уже не на что.

Его архивы уничтожили вместе с ним, но такое у меня чувство, что если бы они и сохранились, мы бы мало что в них обнаружили. Он был обречен на молчание не слоновьими сроками литературной беременности, но Советской властью — а потом и на смерть. Он писал: "О, смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?"

В данном случае эти слова должны быть переадресованы: сталинской эпохе.

Когда его спрашивали о ближайших планах, он отвечал остроумно, хотя и невесело:

— Собираюсь купить козу...

Он хотел написать о коллективизации, поехал в деревню и пришел в ужас — писать не стал.

Он занимался перелицовками для кино Тургенева и Николая Островского — поденщину предпочел лжи и приспособленчеству.

В "Конармии" бесчисленное множество синонимов смерти — "укоптал", "решил", "кончил", "аннулировал", "облегчил", "ударил из винта"... Бабель повидал смерть вблизи, у него хватало зрения, чтобы в лице Времени узнать знакомые черты — шел тридцать девятый год, дни его были сочтены. Он это знал и только удивлялся задержке.

Он считал, что на войне лучше быть убитым, чем числиться пропавшим без вести.

Борис ХАЗАНОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ - 300 стр.

*ВЫШЛА В СВЕТ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ В
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ*

Цена книги в Израиле — 39 лир, при заказе в издательстве — 33 лиры. Стоимость за границей 5 долларов. Заказы принимаются по адресу: Ул.Нахмани 62/9, Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"

ВЫХОДИТ В НЬЮ-ЙОРКЕ, США

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ

66-й ГОД ИЗДАНИЯ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;

25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ

ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В ГОД

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ) : 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД

ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

"NOVOE RUSSKYE SLOVO"

243 WEST 56 St., NEW YORK, NY., 10019 USA.



ТОЛЬКО ОДНА ЖИЗНЬ

Мне хочется предложить вниманию читателей несколько отрывков из воспоминаний моей матери. Эти воспоминания, записанные мною на магнитофонную пленку, охватывают период с начала века до 1956 года и отражают во многом типичную, а в чем-то оригинальную, судьбу человека, жившего страстями и заблуждениями своего времени и умеющего их осознать и преодолеть. Когда оглядываешь путь, пройденный матерью, то невольно удивляешься, как много смогла вобрать в себя только одна жизнь человека.

Моя мать, Надежда Марковна Улановская, родилась в 1903 году в еврейской местечке на Украине в ортодоксальной семье. Увлечение революционными идеями и встреча в пятнадцатилетнем возрасте с отцом, активным анархистом, прошедшим к 1918 году через подполье, ссылку и эмиграцию, привели к ее раннему разрыву с семьей и средой*. После гражданской войны, в которой мать и отец принимали активное участие, они, не являясь членами партии, были, тем не менее, посланы за границу — сначала, в 1921 году, в Германию "для выяснения настроений немецкого пролетариата, и вторично в Германию же, от только что созданного Профинтерна, — в 1923 году. О поездке в Германию в 1921 году рассказано в первом отрывке.

* Своего мужа и моего отца, Александра Петровича Улановского, мать в своих воспоминаниях называет "отцом".

В 1927 году отца пригласили работать в Разведывательное ("Четвертое") Управление Наркомата обороны и послали в Китай в качестве резидента советской разведки. Через несколько месяцев к нему присоединилась и мать. Подготовка к миссии, дорога, короткое пребывание в Шанхае, провал и бегство при драматических обстоятельствах — таково содержание второго отрывка, который я записала.

С 1931 по 1933 годы родители нелегально находились в Америке, отец снова в качестве резидента разведки, мать — при нем техническим сотрудником.

В 1934 году отец, уже без матери, которая оставалась с детьми в Москве, направляется в последний раз за границу. Он побывал в Германии, Австрии и в Дании. В Копенгагене был арестован и приговорен к четырем годам тюрьмы. Освободившись досрочно, он вернулся в Москву летом 1936 года, в начале "Большого террора". Об обстановке в Москве в 1936—1938 годах, ожидании ареста, о пересмотре под влиянием событий всех взглядов матери, рассказано в третьем отрывке.

Расставшись с Разведупром, родители преподавали английский язык в Артиллерийской академии и в Академии имени Фрунзе. В начале войны отец пошел на фронт, а мать, по рекомендации заместителя наркома иностранных дел Лозовского, которого отец знал по эмиграции, стала работать секретарем Бюро иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Один из них, австралиец Джесс Блонден, после войны выпустил книгу, которую советская печать справедливо сочла антисоветской, а МГБ столь же справедливо решило, что книга написана под впечатлением бесед с моей матерью. Мать была арестована в феврале 1948 года и после очень тяжелого следствия получила 15 лет. Отца арестовали просто так, "за компанию", и срок дали "детский" — 10 лет.

Годы, проведенные в тюрьме и лагере, помогли матери обнаружить в себе не известные ей самой душевные возможности, обогатили новым драгоценным опытом, а память сохранила сотни рассказов безвестных узников. Очень надеюсь в будущем ознакомить читателей с отрывками и из этой части воспоминаний, которые, вопреки распространенному мнению, что "лагерная тема — устарела", мне кажется, также представляют интерес для читателей.

Майя УЛАНОВСКАЯ

В РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ

ГЕРМАНИЯ

Когда Крым был белым, приехал оттуда в Одессу "очевидец" и рассказал, что отец погиб, его расстреляли белые.

И вдруг весной 21-го года, после победы над Врангелем, он возвращается — одет великолепно, в полковничьей шубе. Белые, убегая, бросали все.

"Мне же сказали, что ты убит!" — "Никогда не верь таким слухам, пока я сам не приду и не скажу, что я убит."

Много раз за время гражданской войны распространялись слухи о его гибели. И даже был случай, когда ему самому рассказывали, как, свирепствуя в Керчи, белые убили знаменитого Улановского. Он тогда возразил: "Ну, для покойника он еще вполне прилично выглядит!"

Я была уверена, что отец в Крыму вступил в партию. Все левые эсеры и анархисты, которые боролись за советскую власть, к этому времени поняли, что, только находясь в партии большевиков, можно что-то сделать. Но отец сказал: "Знаешь, я видел эту партию в действии, и я еще подожду вступать. Если бы ты видела, что видел я, ты бы меня поняла. Уже после победы большевики расстреляли в Крыму 30 тысяч белых офицеров. Землячка распорядилась. Офицеры были совершенно безвредны, не было никаких оснований их убивать, кроме кровожадности. И не только офицеров. В Симферополе они расстреляли известного в городе врача за то, что он оказал помощь белому."

Мы хорошо знали дочь этого врача, Грету, племянницу Сольца. Отец ее был старым революционером, другом Дзержинского, венчался с ее матерью в Шлиссельбургской крепости, чтобы она могла поехать вместе с ним на каторгу. Грета родилась в Сибири. И такого человека расстреляли большевики. Зато у Греты осталась большая книга, в которой Дзержинский, Феликс Кон и прочие деятели выражали сожаление об ужасной, трагической ошибке. Книга вышла в 20-х годах и была посвящена разным светлым личностям. А Грета всю жизнь чувствовала себя виноватой, что ее отца расстреляли — ей ведь надо было писать об этом в анкетах. Впрочем,

она всегда старалась показать свою ортодоксальность и на большевиков не обижалась.

Когда отец мне сообщил о том, что творилось в Крыму, он прибавил: "Вот я и подумал — действительно ли я готов делить с ними ответственность за это? Поэтому я не вступил в партию".

Я очень удивилась. Конечно, я понимала, что расстрелять 30 тысяч — это ужасно, как и вообще ужасно расстреливать. Но ведь так нужно было для революции.

После Кронштадтского восстания отец был арестован. На митинге в Одессе он сказал, что, конечно, выступать против советской власти — это преступление, но сам факт восстания рабочих, передового отряда революции, говорит о том, что власть себя ведет неправильно — и об этом надо подумать, а не искать вину в восставших.

Я каким-то образом пробилась в ЧК, к начальнику. Отец просидел всего несколько дней, но за это время в газете появилось объявление, что арестован инженер Улановский за спекуляцию бриллиантами. Мы тогда решили, что это — совпадение, но, возможно, уже тогда ЧК действовала методами клеветы.

Так или иначе, отец к тому времени считал, что ему в России делать нечего — революция победила, установилась советская власть. Ему, по-видимому, не хотелось видеть, как распоряжаются большевики.

Поехать за границу отцу предложил еще в Крыму большевик Затонский, старый эмигрант, который знал отца по Парижу. Большевики группировались там вокруг Ленина, ссорились из-за партийных дел. Отца их дела не интересовали, но как и другие анархисты и эсеры, он соприкасался с большевиками и дружил с некоторыми из них. Кстати, там он познакомился и с Калининым, который, прожив несколько лет в Париже, ни слова не знал по-французски.

Отец был необыкновенным эмигрантом. На партийные деньги не жил, а работал на заводе Рено, подстрекал рабочих к забастовкам, участвовал во всех их выступлениях. Кроме того, он жил и работал одно время в Германии, в

Рурской области, в шахтах, знал немецкий. И английский тоже знал — плавал кочегаром на английском пароходе. Отец всегда хорошо говорил на иностранных языках, как бы мало он их ни знал.

Когда установилась советская власть на Украине, Затонский стал крупным военным боссом, или чекистом — не помню. Тогда возникла идея послать за границу людей посмотреть, что там делается, и что можно сделать. Вероятно, военная разведка не была тогда отделена от ЧК, как потом Разведупр. Не было еще Коминтерна, не было и агентов Коминтерна. Затонский вспомнил об отце, и отец охотно принял предложение поехать за границу.

Транспорт тогда был разрушен, но для нас все пути были открыты, и вагоны первого класса, и самые лучшие гостиницы. Я поехала в Одессу, попрощалась с родителями. Оттуда приехали мы в Киев, где была Советская республика. Мы побывали в разных интересных местах — в Лавре, например, но самое большое впечатление на меня произвела панорама Голгофы. Мы взбирались по лестнице вверх, и когда я увидела небо, Голгофу, Христа, у меня захватило дух. Из Киева поехали в Москву. Москва показалась мне большой деревней, грязной, жалкой и голодной. Я привыкла к красивому европейскому городу Одессе.

В Москве мы посетили двух американских анархистов — Александра Беркмана и Эмму Гольдман. Это были легендарные люди. Беркман отсидел до этого 10 лет в тюрьме. Они приехали в Россию сейчас же после революции как в страну победившего пролетариата, но к 21-му году уже были разочарованы и собирались уезжать. Отец с ними разговаривал, я почти не участвовала в разговоре — я ведь была совсем девчонкой. Но я удивилась, что они выглядят такими обыкновенными.

Эмма Гольдман, по моим понятиям, старая — ей было лет пятьдесят — и толстая баба, совсем не была похожа на революционерку.

Анархисты встретили отца как своего человека. Узнав, что он едет за границу, они дали нам кое-какие материалы против большевиков для передачи на Запад, а также — фото-

графию Махно и сообщение о том, как с ним поступили. От них же мы получили адрес их знакомого, рабочего анархиста-синдикалиста.

Позже выяснилось, что нас посылала ЧК. Тогда отец не знал, какое ведомство нами занимается. Однако он понимал, что большевики об этом поручении знать не должны. Тем не менее мы встретились с анархистами открыто, даже в голову не приходило тогда, что куда-то нельзя ходить. Поручение мы выполнили. Отец был совсем не против, чтобы рабочие на Западе знали, что творится в России.

Какое-то время мы пробыли в Москве, встретились с группой, которая тоже должна была ехать за границу, но каждый своим путем. Тогда мы встретили Мишу Горба, отца одной нашей московской знакомой, недавно только мы с ней это выяснили. Миша Горб был большевиком, мы знали, что он работает в ЧК. Еще был Василий Зеленин, бывший левый эсер. Фамилию третьего, Николая, тоже бывшего эсера и начальника группы, я забыла. Их всех расстреляли в 37-м году.

Мне выдали для заграницы синий костюм, блузку и туфли. Мы приехали в Ленинград, остановились в гостинице "Астория". В самой лучшей гостинице не было воды. Ленинград казался мертвым городом. Все бесплатно, но ничего достать нельзя. Трамваи переполнены, редко ходили, но платить за проезд не надо. Мне это очень нравилось. Мы пошли кататься на лодках, тоже бесплатно. Голодно было страшно. Нам выдавали паек — хлеб и рыбий жир. Другие питались еще хуже, мы же были на особом положении.

Мы ехали вдвоем с отцом. Потом мы поняли, что нас отправили безо всяких документов, потому что нами не жалко было пожертвовать. Правда, Затонский считал отца опытным человеком, знал, что отец совершил побег из Туруханского края, единственный удачный побег оттуда, потом прошел пешком всю Европу, а во время мировой войны пробрался через все фронты обратно в Россию.

Мы договорились с остальными — когда доберемся до Берлина, встретимся по объявлению в газете "Руль".

Из Ленинграда мы поехали в город, который тогда назы-

вался Ямбург, на эстонской границе. От Ямбура была недалеко деревня Мертвецы, разделенная рекой пополам. Здесь когда-то остановились большевики. Одна часть советская, другая — эстонская. Там нас принимала ЧК. В Ямбурге мы прожили пару дней. Скучали ужасно, нечего было читать. Чекисты нас перевезли на другую сторону реки, там нас встретил проводник-эстонец. У нас не было вещей. Одеты были, как нам казалось, по-европейски, но с собой имели только по небольшому пакету — пара белья и полотенце.

— Куда вы собираетесь идти?— спросил проводник.

— В Нарву, в гостиницу.

— А документы у вас есть? Ведь в гостинице потребуют документы.

У нас не было документов. Зато — масса денег и драгоценности — доллары, фунты и бриллианты, которые мы потом привезли обратно ко всеобщему удивлению. Ценности были зашиты в пояс. Проводник говорит:

— Я могу дать вам справку. У меня и моей сожительницы сохранились справки. Я сбегаю и принесу. При большевиках в деревне был сельсовет.

Он оставил нас в безопасном месте, принес грязноватый клочок бумаги с какой-то печатью. Мы читаем: Петр Рэе, Житель деревни Мертвецы и Мария Андреевна Ройтятя. Эта справка нам очень пригодилась.

Как это ни странно, я вполне сошла за эстонскую крестьянку. Мы не беспокоились, как доберемся до Берлина. Отец думал, что и сейчас в Европе те же патриархальные порядки, как были до войны. Эстонец отвел нас подальше от пограничных патрулей и сказал: "Теперь идите прямо-прямо, до Нарвы тридцать пять километров. Не советую приходить вечером. Лучше переночевать в поле и прийти утром." Мы пошли и по дороге наткнулись на заставу. Хотя я была абсолютно бесстрашной, никогда не верила, что со мной что-то может случиться, но все-таки отметила неприятное ощущение в животе. Тут отец меня обнял, стал мне что-то нашептывать, будто мы влюбленная парочка, и нас не остановили. Тогда еще такие были нравы — видят, молодые, глупые на вид. Именно наши глупость и невинность спасали нас. Мы настоль-

ко не чувствовали себя виноватыми, что это действовало на других. Мы свалились где-то в поле, переночевали. Утром подходим к Нарве. Осталось несколько километров — и есть, и пить хочется. И я уже начала немного хныкать, за что и получила от отца нагоняй — подумаешь, прошла тридцать пять километров, солдат называется!

В Нарве отец потряс меня своим знанием заграничной жизни. Говорит, что мужчину с женщиной не пустят в гостиницу, если у них нет вещей. Поэтому раньше всего надо купить чемодан. Была ночь, и мы еле дождалась открытия базара, купили бельевую корзину, положили в нее свои свертки. И еще отец знал одну вещь — нужно идти в хорошую гостиницу, потому что в дешевых, низкопробных гостиницах бывают облавы, ищут воров и протитутков, а нам попадать в полицию не имеет никакого смысла.

Наконец мы нашли гостиницу. Стоит дородный швейцар в шитом мундире. Мы подходим, и вдруг я вижу отца со стороны — в синем костюме, как и я, а брюки коротковаты. Швейцар посмотрел на него, на корзину, на меня и сказал, что все номера заняты. Отец был немного обескуражен. Идем дальше. Он говорит: "Пожалуй, надо попытаться попасть в гостиницу подешевле. Вероятно, не такой у нас вид, чтобы соваться в дорогу".

Наконец мы попали в гостиницу, но пробыли в ней недолго. Из Нарвы мы собирались ехать в Ревель, а в Ревеле, отец помнил, можно сесть на пароход.

Все деньги и то, что нам дали анархисты, было в специальном поясе, который надевался на тело. Я так устала, что не хотела идти обедать, отец ругался — что же будет дальше, если ты с самого начала, из-за таких пустяков расклеилась? Утром мы ушли из гостиницы, и по дороге отец вспомнил, что забыл в номере пояс, который он снял перед сном. Он вернулся и — везло же нам! — пояс лежал на месте. Остались бы без копейки, а деньги ведь даны не лично нам, а на мировую революцию.

Приезжаем на последнюю остановку, выходим на платформу и видим надпись: "Таллин". Бросились назад к поезду, но все-таки у отца хватило соображения догадаться, что Ре-

вель переименовали. "Это,— говорит, — должен быть Ревель и ничего другого".

От бельевой корзины мы отделались еще в Нарве и приобрели чемодан. Мы уже знали, что надо идти в скромную гостиницу, нашли такую и остановились. Отец решил, что мы должны ознакомиться с жизнью. Никуда не будем спешить, пойдем обедать. Нас потрясло невероятное изобилие. До этого я не знала, что значит хорошо покушать. Отец тоже. Он хорошо питался только в ссылке, на царские деньги.

Мы зашли утром в ресторан, взяли по огромному куску жареного мяса с луком. На обед — зачем искать лучшего? — опять взяли то же блюдо. Три раза в день мы брали "цвибль клопфс".

Потом мы пошли, конечно, в кино. На другой день начали изучать газеты — русские и немецкие. Отец же, человек бывалый, знал, что жизнь буржуазного общества надо изучать не только по газетам, но и ходить, смотреть. Первое, что мы поняли — что мы не умеем есть. Обычно садились в сторонке, чтобы не привлекать к себе внимания. Мы думали, что самое главное, чтобы нас принимали за буржуев. Рабочих всегда и везде преследуют. Конечно, мы не должны выглядеть миллионерами, но хотя бы как средний класс, как обычные люди. Даже в гостинице, перед горничной, надо было выглядеть, как все. Но это было не так просто! Вероятно, все не заказывают трижды в день по огромному куску мяса.

Между тем, нам надо было ехать в Берлин. Отец думал, что можно просто пойти на вокзал и взять билет. До первой мировой войны не было никаких виз. А теперь требовался и паспорт, и виза. А если нужна виза, значит нужна причина поездки. Ясно — он едет искать работу. Но оказалось, что визы не дают просто так тем, кто едет искать работу. В общем, нам пришлось просидеть в Ревеле полтора месяца. Потом мы узнали самое страшное: для того, чтобы просить визу, нужен паспорт.

Мы изучали объявления в газетах. Были всякие объявления для иностранцев. Санаторий в Шарлоттенбурге, где лечатся от каких-то болезней. Допустим, я больна, и отец меня сопровождает на лечение. Но нужен заграничный паспорт.

Что делать? Мы решили, что у нас ничего не получится, пока не заведем знакомств. Стали ездить по всяким развлекательным местам. Все равно делать было нечего. Куда-то поехали, познакомились с молодыми людьми, стали их угощать. Мы сказали новым знакомым, что хотим поехать за границу, но не знаем, как достать заграничный паспорт. Они сказали, что в Ревеле есть адвокаты, которые за деньги могут закрыть глаза на многие вещи. Мы пошли к такому адвокату. Отец был невероятно находчив, рассказал адвокату, что я — его сестра. Он моряк, был за границей. За это время советские пришли в нашу деревню. Эти страшные большевики, известное дело, творили всякие зверства. Мой муж погиб в боях, а меня чуть ли не изнасиловали. И с тех пор я больна. У меня страшная депрессия. Он хорошо заработал за границей, приехал домой, родителей не застал, одна сестра. Он хочет меня отвезти в Шарлоттенбург, в санаторий. Главный упор на то, что он хорошо заработал. Ему для сестры ничего не жалко. Нам нужен заграничный паспорт. А у нас, кроме тех справок — ничего. Адвокат взглянул на бумажки, записал — откуда, и кто мы, и сказал: "Приходите через неделю". Сказал, что нужно выяснить, не разыскивает ли нас полиция. И спросил отца: "Уплачены у вас налоги?" "А я, собственно, не знаю, я же только приехал". И он оставил деньги адвокату: дескать, если что не уплачено, то пусть заплатит. Мы вышли от адвоката, не веря, что все так просто. Но другого выхода у нас нет, значит, надо ждать. Между тем, отец уже решил, что я должна отправляться обратно тем же путем. Он-то сам, конечно, сможет устроиться на пароход. И я даже начала кое-что делать, чтобы уехать и не мешать ему. А тут появилась надежда, но и опасение — вдруг адвокат заявит в полицию? Мы старались использовать время, может быть, живем последнюю неделю, ходили смотреть борьбу, в кино на "Эльмо-могучий", пили, ели.

Мы шли за паспортом в полицейпрезидиум в назначенное время, и нам было немного не по себе. Уже шпик заходил в гостиницу, узнавал, кто мы такие. Все-таки вид у нас был подозрительный. В Таллине оставаться было нельзя. И вдруг нам выдают два паспорта, да каких великолепных!

Мы узнали, что единственное место, куда можно ехать без визы — это вольный город Данциг. Решили — едем в Данциг и там будем добиваться визы. Мы стремительно продвигались вперед. Были мы молодыми, предприимчивыми. Легко заводили знакомства. У отца было такое открытое лицо и приятный голос. Я тоже располагала к себе. Люди к нам хорошо относились.

Приехали мы в Данциг. За городом было курортное место со всякими развлечениями. Туда ездили по воскресеньям играть в рулетку. Нас это "буржуазное разложение" не привлекало, но на пляже было весело. Там мы снова завели знакомства, узнали, где немецкое посольство. Пришли туда, и отец опять повторил ту же историю. Возможно, там в первый раз слышали о зверствах большевиков, потому что чиновник рассказал обо мне другим служащим.

Теперь нужно было найти для меня подходящую болезнь, мы пошли к частному врачу, чтобы потом через консульского врача получить визу для поездки на лечение. Я никогда в жизни у врачей не бывала и не знала, на что жаловаться. Отец сказал врачу, что я плохо сплю, плохо ем, вялая, безразличная, а главное — у меня головные боли. На это, я думала, всегда можно жаловаться — как проверить? Врач посмотрел на меня и так хитро говорит: "Хотите, я ее вылечу?" Оказывается, он гипнотизер. Посадил меня в кресло, начал делать всякие пассы и говорить по-немецки. Ничего не помогло, он решил, что это потому, что я не знаю немецкого. "Ладно, хотите ехать на курорт — езжайте!" С консульским врачом уже не было никаких затруднений, и нам легко выдали визу.

Мы беспокоились, что страшно опоздали, что все наши уже приехали, как мы оправдаемся? В первый же день в Берлине мы смотрели объявления в "Руле" и ничего не нашли. Пошли в редакцию и сами подали объявление. Ждем — ничего. Мы поселились не в гостинице, а в Нидершейневальде по адресу Луизенштрассе, 5. Это был адрес синдикалиста-рабочего, которым нас снабдили Александр Беркман и Эма Гольдман.

Рабочая семья — муж, жена и трое детей, жили в трех-

комнатной квартире, по нашим советским представлениям и даже по моим дореволюционным — прекрасно. В гостиной стояла мягкая мебель, обитая бархатом. Они считали, что живут плохо, экономили каждую копейку. Работал один муж — на большом заводе, но обед у них состоял всегда из трех блюд. Правда, они никогда не ели масла, а только маргарин, но по вечерам ходили в бар, где брали по кружке пива.

Нас они встретили, как товарищей. Предоставили нам для жилья свою гостиную-штубе. Так что расходы у нас были только на питание. Ценности, зашитые в поясе, предполагались для тех дел, ради которых нас послали. И пользоваться мы могли ими только в дороге. Поэтому ели тот же маргарин, что и наши хозяева. Ждем-ждем, ничего нет. А мы живем на народные деньги. Через полтора месяца отец решил идти работать. В Берлине найти работу нельзя, надо ехать в Рурскую область, где всегда есть работа на шахте. Да и прописка все-таки нам была нужна — хозяева ведь были анархистами. В один прекрасный день пришли из полиции к хозяевам — у вас живут иностранцы, они должны зарегистрироваться в полиции. Отец говорит: "Мы муж с женой, снимаем комнату".

Чиновник рассматривает наши великолепные паспорта: "Как же так? Тут написано Ройтятя, а тут Рэе, почему у вас фамилии разные?" Отец объясняет: "Знаете, если у эстонцев фамилия мужа Рэе, то фамилия жены будет Рой, а Тятя — это девичья фамилия." Немцы удивились: "Как все на свете сложно!" И мы продолжали там жить.

Вскоре отец уехал, сказал, что будет присылать мне деньги. Я осталась в Берлине, и тогда я научилась говорить по-немецки, потому что около меня все время крутились хозяйские дети.

Единственной моей задачей было читать газету "Руль". Я продолжала ее читать безо всякой надежды, главным образом потому, что в доме не было ни одной русской книги. И вдруг обнаружила в газете нужное объявление! Такой-то разыскивает своего брата, поручика, и дает адрес. Я не поверила своим глазам, но отправилась по адресу. За-

стала нашего начальника Николая, с женой. Они жили в прекрасной гостинице. Такая была установка — надо жить, как буржуи, ведь рабочие всегда подозрительны. Отец потом боролся против такой установки, но не помогло. Я им рассказала всю нашу эпопею, они только плечами пожали: "В Рур, работать шахтером? У вас же есть деньги". "Но как же жить на народные средства, когда ты ничего не делаешь для революции!?" А жена начальника, между прочим, в собольем палантине, который им дали в качестве ценности. Говорит: "Нужно же из себя изображать буржуазную даму".

Мы договорились, что я пошлю отцу телеграмму: "Немедленно приезжай". Перед уходом они мне сказали: "Больше в таком виде сюда не приходите, надо купить приличную одежду". А я считала, что мое платье, которое я купила, когда мы приехали в Берлин — красное, с синим воротником и поясом — вполне годится. Я поняла, что наши акции как работников упали страшно. Приехал отец. Оказалось, что остальных членов группы по дороге арестовали. Им стоило огромных денег освободиться, пришлось связаться с подпольными адвокатами. Они смотрели на нас с удивлением — дуракам счастье. Они приехали после нас через два-два с половиной месяца.

Тогда была война с Польшей, шло наступление на Варшаву. Предполагалось, что Ленин приедет в Германию для переговоров. Уже были установлены дипломатические отношения с Германией, Красин был нашим послом. Какое-то наше начальство было связано с советским посольством, но мы ничего общего с ним не имели. Почему Ленин должен был приехать за границу — я не знала. Нашей задачей было выяснить, нет ли опасности для его жизни, обеспечить безопасность поездки. Вообще, цели были очень расплывчатыми. Я, конечно, ничего особенного не делала. Однажды в "Руле" появилась очень жалостная заметка, обращение за помощью. Мол, известного генерала Л. выбрасывают с женой на улицу, потому что они не могут платить за квартиру. Они просят белых эмигрантов, которые когда-то с ним вместе служили, им помочь. Николай спросил: "Вы читали

вчерашний "Руль"? Обратили внимание на очень интересное объявление?" И показывает: "С этим генералом нужно встретиться".

Выбрали отца, как самого подходящего, с русским лицом, хотя все были русские, кроме него. Отец пошел знакомиться и нашел генерала, действительно, в ужасных условиях, в каком-то пансионе, в маленькой комнатке. Генералу тогда было за пятьдесят, а жене лет двадцать семь, красивая, крупная женщина. Отец заявил, что он — русский офицер, прочел о бедственном положении генерала и от лица русского офицерства предлагает ему помощь. Завязалось знакомство домами. Мы тут же выехали от нашего синдикалиста и поселились в пансионате на Таунценштрассе. Стали жить, как полагается. Я познакомилась с женой генерала, они к нам приходили. В общем, его завербовали. Генералу ведь надо было жить и как-то кормиться. Конечно, его не просто купили. Это какое-то время тянулось. Отец его передал Николаю, генерал познакомил нас с молодым ротмистром.

Потом оказалось, что они нас сразу раскусили, но делают вид, что не знают, кто мы. Мы их угощали обедами, винами. Решили создать Крестьянский союз, еще какие-то планы были. Л. говорил, что в Советском Союзе у него закопан клад, огромные деньги. Если бы можно было проникнуть в Советский Союз. В общем, и те и другие вели игру.

Кстати, в это время отец узнал, что все мы, оказывается, на работе у ЧК. У нас были друзья-чекисты, но к самой этой организации отец с самого начала относился весьма отрицательно.

В иностранной печати стали появляться сведения о страшном голоде, об умирающих, о случаях людоедства — эти сведения тогда давали сами советские, а мы для "работы" ходим по ресторанам. Ходили в ресторан "Медведь", где выступали балалаечники, пили и ели, и мы с отцом чувствовали, что больше мы так жить не можем. К тому времени я была в положении. Мы пошли в ресторан, и нам подали ростбиф с кровью. А я, начитавшись в газетах о людоед-

стве, не могла есть. Я перестала есть совсем, и пришлось сделать аборт — так я была истощена. Там — людоедство, а здесь ЧК тратит огромные деньги, и на что? Отец заявил, что он отказывается от работы, хочет уехать. Так и заявил: "Я не желаю работать для ЧК." Тогда еще можно было делать такие заявления.

Возвращались мы домой на пароходе из Штеттина в Ленинград зимой 1922 года.

МИССИЯ В КИТАЙ

В конце 1928 года отец уехал в Шанхай вместе с двумя немцами — Зеппелем и Зорге. Я должна была поехать туда через несколько месяцев по чешскому паспорту, выданному на имя судетской немки Киршнер. Я очень хорошо говорила по-немецки. В Гамбурге меня вообще принимали за немку. Однако в языке нужно было еще усовершенствоваться, как можно лучше изучить все немецкое. Нужно было знать радиодело, чтобы стать шифровальщицей и радисткой.

Ко мне приставили немца, который работал в Разведупре уже несколько лет. Он был на хорошем счету в немецкой компартии, работал раньше в коммунистической газете "Роте Фане". Поэтому ему и доверили это ответственное дело. Но когда он приезжал в Германию, он абсолютно с партией не общался. В Москве жил под странной фамилией Вильгельм Телль. Маленький, сухонький, с крючковатым носом, похож на карикатурного еврея, но меня его внешность не интересовала. Никого тогда это не интересовало. Он оказался чистокровным арийцем. Мы с ним часто работали по ночам в коттедже, где был огромный передатчик и такой же приемник. Мы принимали от наших людей какие-то телеграммы. Приема ждали иногда часами. Ему было сказано — готовить меня по всем статьям. За ним было последнее слово — могу ли я ехать? А он, хотя и был интеллигент, но техника ему тоже давалась хорошо. И он не мог понять, почему я так к ней неспособна. Постепенно я хорошо освоила зуммер, но теорию понимала плохо.

Мы подружились. Нравы были патриархальные. Он приходил ко мне домой. В те дни приехал из Одессы мой старый приятель Роберт и поселился у меня. Немец с ним познакомился. Вопросы об антисемитизме для меня просто не существовало. Я не замечала антисемитизма в Германии, хотя знала, что фашисты, которые уже были очень сильны в 20-е годы — антисемиты.

Странно, но никто из немецких товарищей меня никогда не принимал за еврейку. И вот в первый раз я столкнулась с антисемитизмом в коммунистической среде, со стороны этого немца Вилли.

Как-то раз в перерыве между приемом и передачей я ему рассказывала о Роберте. Пришлось к слову и я сказала: "Он ведь еврей." И Вилли спросил: "Он еврей? То-то же я заметил в нем что-то неприятное!" Я удивленно посмотрела: какой странный оборот речи!

В тот же вечер, через несколько часов — было холодно — мы сидели, укутавшись одним одеялом. Он стал гладить мою руку и говорит: "Какая у тебя гладкая, мягкая кожа, не то что у евреек. Ты знаешь, когда в трамвае случайно прикоснешься — ужас! — у них колючие, волосатые руки". Тут уж до меня дошло. "Да? Интересно, я не замечала", — немного отодвинулась и говорю: "Ты хорошо знаешь Гейне. Помнишь "Донну Клару"? "Что нам мавры и евреи..." И он понял, что я еврейка. Какая неловкость! Между тем, я продолжала: "Не думала, что коммунисты бывают антисемитами".

Тогда в Советском Союзе, как мне казалось, антисемитизм был не в чести. И он испугался, что я его могу "засыпать", а может быть, просто почувствовал неловкость. Он начал оправдываться, что никакой он не антисемит, что его самого принимали за еврея, и однажды даже избили фашисты. Он рассказал, что есть место, в Баварии, кажется, где все такие, как он, — похожи на евреев. Конечно, наши отношения стали несколько холоднее. Мне было это на руку, потому что он стал ко мне уж слишком "хорошо относиться".

Через несколько дней его спросили, готова ли я, затем меня вызвали и сказали, что обо мне дан самый лучший

отзыв. Но я все же смертельно боялась, как это я приеду, и мне нужно будет стать настоящей, самостоятельной радисткой. Вилли сказал:

— Тебе не придется первое время работать самостоятельно. Там же есть радист, Зеппель.

В 37 году Вилли арестовали, и он погиб.

Я ехала из Москвы на транссибирском поезде. Мне никогда не давали паспорт вовремя, чтобы я успела как-то вжиться в "образ". Вилли говорил, что по языку я вполне сойду за немку. Но по паспорту я из Праги, хотя никогда не бывала в Чехословакии.

Двух вещей я боялась — оказаться в одном купе с немцами и чтобы в вагоне были японцы. Считалось, что японцы — замечательные разведчики. Меня предупредили: если японцы что-то заподозрят, я могу привезти "хвост" в Китай. Ведь предстояло ехать двенадцать дней и не общаться с пассажирами было невозможно. Главное, чтобы во мне никто не заподозрил русскую. Так вот, как только я зашла в вагон, я услышала немецкую речь и увидела японские лица. Это был международный вагон первого класса, с двухместными купе.

К счастью, со мной в купе оказался русский. Чувствовал он себя страшно неловко. Утром выходил и не являлся по несколько часов, боялся меня стеснить. Тогда русские неизменно ощущали в себе недостаток цивилизации и боялись выглядеть со стороны смешными и нелепыми. Сосед жаловался другому русскому, советскому дипломату: "У нас всегда такое головоуствяпство! Женщину, иностранку, помещают вдвоем с мужчиной!"

Дипломат когда-то учился в Германии, говорил по-немецки прекрасно, но, принимая меня за немку, стеснялся своего языка.

Все, конечно, очень быстро перезнакомились. По соседству ехала немецкая семья — мать и дочь. Был швейцарец лет сорока, очень галантный, сразу стал за мной ухаживать и посмеиваться над тем, что меня поместили с русским, все говорил, что можно попросить обменяться местами. Я кокетливо возражала: "Уж если находиться с мужчиной, то лучше с совершенно чужим". Было еще двое немцев, безусловно,

фашистов. И я допустила ужасную глупость — в разговоре с ними упомянула книгу Ремарка "На западном фронте без перемен". Один из них возмутился: "Как, вы читали эту грязную книгу?"

Поездка оказалась страшно мучительной. Японцы тоже за мной ухаживали, приглашали к себе в купе. Однажды ночью мне приснился кошмарный сон, как японец из соседнего купе вошел ко мне, наклонился и схватил за горло. Я закричала (к счастью, по-немецки) "Хильфе!" и проснулась от собственного крика. И стала прислушиваться к своему соседу. Молчание. На следующее утро я вышла и стала рядом с ним у окна. Он говорит дипломату. "Черт побери эту иностранку, сегодня ночью у нее кошмар какой-то был, она начала орать, а я лежу и не знаю, что делать. Подойти к ней — еще подумает, что я ее изнасиловать хочу — очень мне надо!" И он отпустил в мой адрес несколько крепких слов. "Они же все думают, что мы на них кидаемся!"

Кстати, он писал открытки и оставлял их на столе. Я взглянула на одну из них. Фамилия его оказалась Кобли, работал он в НКПС, был там большим начальником, ехал в командировку на Восток. Один раз только он со мной заговорил. Мы проезжали Байкал. Я сидела и читала, а он смотрел в окно. И вдруг говорит: "Мадам — и показывает — Байкал". Позже я узнала, что и его посадили в 37 году.

Двое молодых фашистов предвкушали, как мы будем встречаться в Шанхае и на пароходе из Дайрена в Шанхай вместе ехать и танцевать по вечерам. А я даже не умела танцевать как следует. Вилли меня учил, но я не любила танцы. Почему-то я никогда не могла избавиться от мысли, что чужой мужчина меня обнимает. Позже мне приходилось со многими танцевать, был среди них и Зорге.

Приехали мы в Дайрен, и я действительно оказалась с этими молодчиками на одном пароходе. Когда я попала, наконец, в каюту, я почувствовала себя совершенно разбитой. Кроме всего прочего, я должна была постоянно держать в голове шифр, нельзя было его записывать. Часа через два после того, как я скрылась в каюте, приходит немец, зовет

обедать. Но я решила, что должна дать себе отдохнуть и сослалась на головную боль.

Пароход был японский. На другой день пошла обедать, сидела рядом с капитаном как самая важная гостья, потому что была единственной европейской женщиной на пароходе. Пили "за прекрасную даму", а я думала: еще два дня!

В Шанхае встретили меня твой отец и Рихард Зорге. Тогда я в первый раз его увидела. Когда мы сели в машину, я совсем расклеилась. Если бы это продолжалось еще день-два, я бы, наверное, не выдержала. Я была в таком ужасном состоянии, что Рихард на меня смотрел даже с некоторым неодобрением, и отцу было за меня неудобно. Я говорю: "Тринадцать дней! И рядом японцы, немцы!"

Рихарду было, конечно, легче, чем нам. Он был тем, кем он был, и не понимал, что каждую минуту я обязана была разыгрывать какую-то роль.

Когда привезли меня домой, Рихард сказал: "Разденьтесь, наденьте кимоно, и сразу у вас усталость пройдет". Прежде всего я должна была освободиться от шифра. Потом было несколько дней абсолютного отдыха. Рихард меня сопровождал в магазины. Еще раньше мне из Китая в Москву привезли кожаное пальто и вязаное платье.

Приехала женщина, американка, по имени Рей Беннет, которую я должна была сменить в Китае. Она погибла в 35 году. Вероятно, ее искали американцы. Она приехала в Советский Союз по настоящему американскому паспорту и исчезла, оставив маленького ребенка. Она меня тоже кое-чему учила перед отъездом. Она же давала мне указания, как одеваться. Моим гардеробом занимался Рихард — он знал в этом толк. Зорге говорил по-немецки и по-английски, только не по-русски. Я и не подозревала, что он говорит по-русски, как русский, он ведь родился в России.

Начались будни. Для меня ничего особенно интересного. Было много нудной работы с шифрами. Вскоре познакомилась с Зеппелем — милым, славным парнем, он был когда-то матросом, его приодели, "подцивилизовали". Он вполне сходил за немца из средних классов. С ним мне больше всего приходилось иметь дело, ведь я же и радисткой была.

Зеппель работал великолепно, и что бы ни испортилось, все мог починить.

Отец куда-то ездил. Тогда я оставалась одна. Был у нас китаец, который раньше учился в Москве. Китаец читал местные газеты и переводил для меня всякие сведения. В то время Китайская красная армия занимала целые районы.

Зорге был с нами всего несколько месяцев, потом он уехал в Гонконг. Отец сказал, что Зорге подчинен ему не полностью, что его готовят для самостоятельной работы в Японии, резидентом. Это его главное дело, так что у него есть свои собственные задачи, и он должен завести свои связи. Но пока Зорге находился в Шанхае, отец был его начальником.

Нашим в Китае нужно было, во-первых, крепить революцию, но главное, у китайцев можно было добыть кое-какой материал относительно Японии, ее вооружения, военных планов. Работать в самой Японии было почти невозможно. Для этого у наших еще не хватало квалификации. Но и Китай нас также интересовал — какие и с кем именно он поддерживал связи.

...Боюсь, что дальше не смогу рассказывать. Я подхожу к чему-то для меня очень тяжелому. Ты помнишь, как у меня еще до ареста дрожали руки? Это оттуда, из Китая. Это связано с парнем по имени Фоля Курган. Вероятно, в этом отношении никогда и ничего более тяжелого мне не приходилось переживать.

Когда я приехала, отец мне сказал: "Ты знаешь, кого я здесь встретил? Фолю Кургана! Ты его тоже встретишь". Я говорю: "Это невозможно, я никогда с ним не буду встречаться!" "Но у меня не было другого выхода. Я должен был или немедленно уехать обратно, или взять его на работу. Нельзя, чтобы нас тут знал посторонний человек. Я решил — столько ведь было всего затрачено".

Отец стал меня убеждать: "Ты уж слишком резко судишь. В людях не одна только сторона. Не только черное или белое. Я думаю, он будет на нас работать, и все будет в порядке".

Отец его знал еще по Крыму. В подполье, когда Крым был еще белым, при Врангеле, Курган приехал из Москвы вместе с другим товарищем по имени Наум с большими

ценностями, предназначенными для подпольной, партизанской работы. Их арестовали белые, которые обычно очень быстро расправлялись, но поскольку Фоля и Наум приехали из Москвы и у них нашли большие ценности, белые решили, что это какие-то важные птицы, поэтому их не расстреляли и не замучили сразу, а держали какое-то время вместе в тюрьме. Их даже не пытали, и потом Наум рассказывал, что Фоля вел себя ужасно. Он был в истерике. Он говорил Науму: "Я пыток не выдержу, я все выдам".

В то время никто не смел такое даже подумать. Им удалось выжить — подошли красные, и тюрьму освободили. Несмотря на все это, отец о Фоле был гораздо более высокого мнения, чем о Науме. Оба они кончили гимназию, оба происходили из средних еврейских слоев, но Фоля был умнее, интеллигентнее. Потом в Москве мы встречались и с тем и с другим, а с Фолей подружились. Он был членом партии и пошел в гору.

Написал в начале 20-х годов книгу, где много рассказывал об отце. Тогда еще мало писали о гражданской войне. А потом его послали куда-то на работу.

И вот в один из наших приездов из-за границы — ужасная сенсация: "Курган — ренегат, он бежал из России." Это был первый страшный удар, такого еще не бывало. Говорили, что он проиграл какие-то деньги, просто стал уголовником. Рассказывали подробности, что вместе с ним ушла женщина, крупный прокурор, тоже член партии. Когда отец ездил в Китай по линии Профинтерна и вернулся, он рассказал мне, что встретил Фолю в Шанхае. Он — в среде белых и в ужасном положении, как и все белые эмигранты.

И вот снова Фоля. Я с возмущением говорю: "Как? Ты с ним встретился? С уголовным преступником, негодяем!" Для меня это было, как чума. А отец отвечает: "Знаешь, он все-таки очень любопытный человек. С ним интересно поговорить. И тут не все так просто. Конечно, он проиграл деньги — или не проиграл. Но главное — он разочаровался в революции, в партии... Я его с нашими связал. Они его смогут использовать, все-таки он очень умный."

Нужно же — Шанхай не такой уж маленький город, чтобы

встретиться с Фолей и в первый раз, и во второй. Оказалось, что он опять в ужасном положении, потому что потерял связь с нашими. Наши ведь тогда бежали, после переворота Чан-Кай-ши. А чем могли заниматься белые в Шанхае? Они же не могли работать физически, как китайцы, за ничтожный заработок. И прожить бы не могли на этот заработок, как китайские кули. Жена Фоли работала в кабаре платной танцовщицей и содержала его. Когда отец его встретил, было ясно, что он от отца не отвяжется, потому что ему надо было на что-то жить.

Через некоторое время отец уговорил меня с ним встретиться. И тут у нас пошли политические споры. Я же была абсолютно бескомпромиссной, и что бы он ни говорил, он был для меня парией, подонком. Но все-таки пришлось с ним общаться, и это не было безопасным. Он приходил к нам в дом, а с нами работали японец и китаец, их мы очень берегли, потому что в случае провала им грозила мучительная, страшная смерть. Европейец еще мог как-то уцелеть. Фоля несколько раз приходил одновременно с ними, но я знала, что Фоля не должен был с ними встречаться. Зеппеля он как-то встретил на улице, а с японцем и китайцем мы даже не ходили по улицам. Так что он их не знал.

Он разобрался в советской действительности уже в двадцать четвертом году. Считая меня честным и неглупым человеком, он говорил: "Как ты можешь в это верить!"

Он пытался приводить доказательства своей правоты, но дискуссии не получалось, потому что я его не хотела слушать. А спустя несколько лет, после 37-го года, вот так же точно нас не хотели слушать наши друзья!

Но вообще-то он был человеком абсолютно аморальным, разложившимся. И все же, мало-помалу, я стала немного смягчаться, потому что в его личности было какое-то обаяние.

Я не вдавалась в подробности его дел, но кое-что до меня доходило. Он давно жил в Китае, и среди белых у него были связи. Большинство из них занималось темными делами, потому что другого выхода у них не было. Мало кто из них был устроен по-человечески. Это была ужасная картина, они вызывали у меня жалость и презрение.

Близко я с ними не встречалась, мы же не считались русскими. Думаю, что больше половины из них работали на ГПУ.

Отец свел Фолю с нашими. Он и сам не знал, с кем точно — с ГПУ или с разведкой. Фоля чувствовал свою ответственность перед женой, они были очень привязаны друг к другу. Отец платил ему прилично, и он мог бы жить на широкую ногу. Душевного конфликта у него не было. Что до тайн, которые он выдавал, то мы с отцом давно пришли к заключению, что они выеденного яйца не стоили. Шпионажа было столько же, сколько и контршпионажа. Большой помощи советской власти он принести бы не мог и, конечно, был этим очень доволен.

Однажды он пришел к отцу и сказал, что кто-то предлагает продать за большие деньги серьезные сведения, относящиеся к японцам. Отец запросил Москву, идти ли на это дело. Из Москвы ответили: "Да!"

В какой-то день Фоля должен был встретиться с человеком, который передаст ему документы, и заплатит ему деньги. Но когда нужно было дать Фоле эту сумму, отец вдруг заколебался: "Я боюсь ему дать такую крупную сумму". Дело в том, что Фоля мечтал уехать из Шанхая, и для этого ему необходимы, как он говорил, две тысячи долларов. Но тут я вмешалась: "Как же он получит эти сведения без денег? Ты же сам не пойдешь вместо Фоли? Все дело провалится!"

В общем отец дал ему деньги, потому что понял, что иначе с ним невозможно работать. Раньше он давал ему только небольшие суммы. Фоля должен был вернуться в определенное время. Мы ждем, его нет. Или его арестовали, или он сбежал. И то и другое одинаково плохо. Нет его на другой день, на третий. Я пошла к его жене в кабаре, где она работала, спросила, где он. Она тут же начала: "Вот, связался с вами, его посадили, я знала, что произойдет несчастье!"

А мы подозревали, что он сбежал. Если бы арестовали его, то это как-нибудь дошло бы до нас. Я ей говорю: "Он удрал с деньгами, у него была большая сумма".

Назавтра я опять пошла к ней. Мы ходили по улицам, и я добивалась от нее, где он, ожидая, что он с ней попытается встретиться. А она громко кричит: "Это вы, большевики, довели его!" И даже стала угрожать, что она нас выдаст. Я говорю: "Кого вы будете выдавать? Это ведь вы прокуром работали!" Отец ждет, а все переговоры веду я, чтобы он не был замешан, и чтобы она его не видела.

Так прошло несколько дней, наконец, Фоля прислал жену. В общем, проиграл он эти деньги. Он ждал человека, с которым должен был встретиться, а поблизости оказалась рулетка. Он и раньше спускал деньги, заработанные женой, а тут такая сумма. А материал важный, интересный. И он требует еще денег. Отец заявил, что больше никаких дел с ним иметь не желает. Фоле, между тем, нужны деньги, у него долги, за которые ему грозят тюрьмой. И он стал говорить, что он нас выдаст. Стал просить всего тысячу долларов, чтобы уехать вместе с женой от кредиторов.

Вся работа приостановилась. Я веду с ним переговоры. У отца был второй паспорт, с другой фамилией и национальностью и другая квартира, специально на случай провала. Квартиру снял для него Зеппель. Мы долго с отцом обсуждали это дело. Нависла угроза, что за нами придут. Явный провал — и тогда все кончилось. Но отец не мог уехать без разрешения, бросить все и бежать. Тогда я предложила, чтобы он перешел на другую квартиру, как будто он исчез из Шанхая. А я останусь здесь. Пока я остаюсь, Фоля будет считать, что мы продолжаем переговоры.

Отец сообщил обо всем в Москву, запросил, кому передать дела, и стал ждать разрешения уехать. При этом отец колебался, боялся оставить меня одну во власти Фоли, хотя ко мне лично Фоля относился очень хорошо, бил себя в грудь и плакал: "Большевиков проклятых и всю их работу я ненавижу, но ты, для тебя, из-за тебя..." и так далее. Меня он без абсолютно крайней необходимости не подведет. Я это знала. Нам нужно было выиграть недели две. Отец ушел, а я осталась одна в шестикомнатной квартире, с двумя ваннами и с двумя слугами.

Фоля, чтобы показать, что он не ограничится угрозами,

прислал к нам белого капитана Пика, который служил в китайской полиции.

В один прекрасный день Пик явился в наш respectable дом и заговорил по-русски. Он сказал отцу, что он знает, кто мы такие, но зачем, дескать, ему выдавать нас китайской полиции? Что ему китайцы? Он хочет войти в долю и получить деньги. Отец посмотрел на него непонимающими глазами, а потом спросил по-английски: "Кто Вы такой и что Вам надо?" Пик говорит: "Ах, Вы хотите играть в эту игру, ладно, поиграем". И то же самое повторил по-английски. А отец ответил: "Если Вы сейчас же не уберетесь — а мы жили на французской концессии — то я позвоню в полицию".

Пик ушел и сказал: "Ну, пеняйте на себя!"

Вот тогда, после посещения Пика, я сказала отцу: "Ты должен уйти". Вместе мы все равно уйти не могли, потому что у меня был паспорт только на имя Киршнер. Чтобы уехать, нужно было достать другой паспорт. Отец ушел, исчез. А за нашим домом уже наблюдение — Пик устроил.

Мы с отцом были связаны через Зеппеля. Зеппель же устраивал наш отъезд. На немецких пароходах у него были друзья-коммунисты. На одном из таких пароходов мы могли уехать. Я сказала Фоле: "Я с тобой буду встречаться в назначенное время, но к нам домой не приходи". А с Зеппелем мы встречались так. Я ходила в бассейн, и Зеппель там плавал. Он был замечательным пловцом, выделял всякие трюки, я тоже хорошо плавала. Нам нужно было только двумя словами обменяться. Ему надо было увидеть, что я цела, а мне — узнать, когда и где мы в следующий раз встретимся. Еще мы виделись в кино. В кино можно было заходить и уходить, когда хочешь. Один из нас заходил и оставял место рядом с собой. Другой входил следом и садился. И назначаем встречу на следующий раз.

Между тем, возле дома стоят все время, и вскоре Фоля узнал, что отца в квартире нет. Фоля считал меня такой восторженной комсомолкой, неспособной ни на какие хитрости. Он думал про себя, что он старый волк, столько пережил в жизни, и сможет меня обвести. Но он меня недооценил.

Фоля понимал, что отец не мог сбежать и оставить меня

на произвол судьбы. Он знал, что у меня с ним есть какая-то связь. Раз отца нет, значит, Фолины шансы падают, но все равно — я еще там. И хоть ему не хочется, он должен будет меня заложить. Он знал, что я не могу уехать. И он говорил: "Что же он думает!? Ведь тебя могут арестовать!" "Да ничего не думает. Ты же знаешь, что для нас — дело, мировая революция — это все, а жена, дети и все прочее — второстепенно."

Ну, он не поверил, конечно. Говорит: "Ты не можешь выехать, тебя задержат."

Получалось, что я могу выехать только вместе с Фолей и его женой. Он ничего от нас не хочет, только деньги на билет для меня, его жены и для него. Нам нужно выехать из Китая. Он нас заложил, но отец сбежал, а меня он вывезет. И заложил он нас только Пику. И ему от Пика тоже нужно бежать. Пик требует своей доли. Надо бежать, не то придется меня подбросить Пику.

В это время Зеппель искал свои связи на немецких пароходах. Отец уже получил из Москвы разрешение уехать. Зеппель постоянно ходит в порт, ждет, и мы с ним встречаемся каждый день или через день. А в доме все идет своим чередом. Двое слуг-китайцев подают мне обед, я к обеду переодеваюсь, сижу, аппетита у меня нет, но я стараюсь есть. Состояние у меня очень неважное.

С Фолей мы ходим часами. Ему же надо излиться: "Если бы речь шла о моей жизни, черт с ней, я за тебя бы ее отдал, но о ней идет речь, о жене". И об отце он много говорил: "Он фанатик, он сумасшедший, он не человек, он из-за каких-то двух-трех тысяч, из-за денег большевиков, готов загубить жену, что для них несколько тысяч долларов? Они столько тратят по всему миру на свои дела." Но дело было не в деньгах. Отец не допускал, что кто-то может его запугать, шантажировать.

К концу я уже едва держалась. Зеппель был чудный парень, готовый отдать свою жизнь. Правда, жизнью он особенно не рисковал. Он был немцем и жил по своему настоящему паспорту. Но все-таки он готов был на все. Он обожал отца. Однажды мы с ним встретились в бассейне, и он сказал, что

завтра не надо встречаться: "Ты такая усталая, пропустим один день. Итак, послезавтра, в номере таком-то."

Места наших встреч мы называли по номерам. Назавтра я рано легла спать. Зеппель уверял, что через два-три дня это кончится. Фоле я сказала, что получила разрешение от отца — будут деньги, и мы выезжаем все вместе. Назначила ему встречу через пять дней. И мне легче стало — с Фолей не надо видиться, и через несколько дней все кончится. И я уснула...

Проснулась от громкого звонка и стука в дверь. Слуги мои спали внизу в полуподвальном помещении. Я слышу, что снизу кто-то поднимается и думаю, что это — конец. Причем конец страшный. Потому что там очень страшной была сама тюрьма. Летом, в жару, заключенные содержались в таких ужасных условиях, что приговоренные к смерти требовали, чтобы их скорее казнили. Об этом писали в газетах. И я думаю: "Что ж поделаешь!" Но главное: хочу одеться, чтобы они меня голой не застали. Начинаю одеваться, и в это время слышу на лестнице голос Зеппеля. Я открываю дверь, и он мне: "Что ты с нами делаешь!? Почему ты не пришла на свидание?" Я говорю: "Как? Я же не должна была сегодня приходиться!" Тут он бросился бежать: "Что я наделал! Я должен спешить, иначе произойдет несчастье!"

Оказывается, он спутал, забыл, что встреча завтра, а не сегодня. И когда я не пришла к определенному часу, решил, что меня арестовали. А ко мне на квартиру он идти не мог — за ним следили. Он сказал отцу, что я не пришла. Не оставалось сомнения, что меня взяли — потому что в каком бы состоянии я ни была, такого свидания я пропустить не могла. Тут отец стал психовать: представил, как он приезжает в Москву без меня...

Свое оружие он держал не на квартире, а у Зеппеля. Специально была квартира, где находилось оружие, передатчики. Он решил, что меня выдал Фоля, и что надо его убить. Тогда его тоже, конечно, посадят, но все равно — без меня он не может вернуться в Москву. Он приказал Зеппелю принести ему револьвер. Зеппель понял, что это конец. Он начал просить отца, чтобы тот разрешил ему сходить ко мне на квар-

тиру. Все-таки есть какой-то шанс. Дал слово, что если меня действительно взяли, он принесет ему револьвер — и пусть делает что хочет. Но отец потребовал, чтобы Зеппель сначала принес ему револьвер, и, получив оружие, согласился ждать. Поэтому Зеппель бросился бежать, даже не объяснив мне, в чем дело.

Наконец, пароход пришел. Оказалось, что на нем мы можем ехать только до Гонконга. Потому что в других местах нужны паспорта. А в Гонконг немцы-коммунисты обещали провезти меня без паспорта. Мы выехали за день до назначенной встречи с Фолей. Я вышла из дому вечером без всего. Поэтому из Китая мы приехали без вещей, правда, потом в Париже кое-что купили.

Когда мы поднялись на пароход и вошли в каюту, я в первый раз за все время расплакалась, тут отец уж ничего не сказал. И в Гонконге нас могли арестовать. Там нас встретил Рихард, который знал почти все подробности этого дела.

К тому времени у Зорге была своя радиостанция. Он же и принял у отца все дела. И стал потом сам резидентом в Шанхае.

Зеппель перестукивался с Максом, радистом Зорге. Первое, что Зорге сказал, встретясь с нами в Гонконге: "Жаль, что меня там не было!" Ему было обидно, что он пропустил что-то волнующее.

Раньше мы были не в очень хороших отношениях, он надо мной подтрунивал как над женой начальника. Теперь он стал относиться ко мне почтительно и просил: "Расскажите все подробности!" И я к нему после этого тоже почувствовала симпатию.

Зорге приготовил для нас билеты. И поскольку в Гонконге нас не задержали, мы могли опять воспользоваться нашими прекрасными документами на имя Киршнер. Нам надо было уехать в тот же вечер. Мы оказались на маленьком английском пароходике, который шел очень долго и на котором ехали миссионеры, офицеры и плантаторы.

А Фоля покончил с собой — так нам сказали в Управлении. Когда я не пришла на свидание, он отправился на квартиру и увидел, что там никого нет. Его самоубийство было боль-

шой сенсацией. О нем подробно писали газеты и, кажется, упоминали фамилию Киршнер.

Когда меня арестовали и я оказалась на Лубянке, первая моя мысль была: "Вот бы Фоля меня сейчас увидел, он бы получил нравственное удовлетворение". Две мысли пришли мне тогда в голову. Другая мысль была: "Какое счастье, что я не вступила в партию".

Вообще тогда я о Фоле много думала. Не знаю, что случилось с его женой. Парторг Четвертого управления (о нем упоминает в своих воспоминаниях Павел Гольдштейн, который встретился с ним в 37-м году в камере) говорил отцу: "Как же ты мог оставить его в живых? А мы думали: у нас там такой бомбист — Улановский, он с ним разделается".

Но не разделался, и не потому, что не хотел. Смешно. На пароходе отец сказал одному англичанину, что накануне ночью ему не спалось. Англичанин спросил: "У Вас что-то на совести? Вы убили кого-нибудь?" Отец ответил, и тот принял за шутку: "Нет, я не убил, поэтому не спалось". Действительно, он терзался все время, что оставил Фолю в живых.

Фоля думал, что отец не пожалеет нескольких тысяч долларов, чтобы спастись. Он его плохо знал. Такие люди, как твой отец, были ему непонятны.

... Пароход шел из Гонконга в Марсель. Останавливался в каждом порту, иногда на день, на два. Пять недель продолжалось путешествие. В каждом порту мы ждали ареста. Даже в Марселе еще было беспокойно. На пароходе мы были единственными иностранцами. Первый раз мы с отцом оказались среди англичан. Хотя у нас были чехословацкие паспорта, мы называли себя немцами, а чехов обходили на расстоянии.

Мы, конечно, нервничали. Когда мы оказывались в каюте вдвоем, мы переживали прошлое. "Как же это я уехал и оставил его в живых!" Ты знаешь, отец не очень кровожадный человек, но он был убежден, что предателей нужно убивать, и у него была против Фоли страшная личная обида...

Но на палубе и в салоне было удивительно приятно. Мы преисполнились уважения к англичанам, нигде мы не чувст-

вовали себя так непринужденно и спокойно. Мы ненавидели — и у нас были для этого все основания — тех, кто задает вопросы. Немец, как только сядет с тобой в поезд, тут же начинает расспрашивать. А англичане никогда не задают вопросов. И потом англичане очень демократичны.

На пароходе мы стали популярны, особенно отец. На следующий день после того, как мы вышли в море, ко мне явились две женщины и сказали, что организуются палубные игры, соревнования, и в первом же порту мы закупим призы. Я ответила, что я посоветуюсь с мужем, считая, что так принято в буржуазном обществе. Отец был ужасно недоволен: "Ты должна была сразу согласиться, надо было показать, что мы европейцы". Я это быстро исправила. Когда англичане пили, они не только не теряли образа человеческого, как русские, но становились еще милее. А один молодой офицер не пил совершенно ничего. Мы с ним очень подружились. Пока в салоне пили, мы с ним сидели и разговаривали о литературе, о социализме. Я и там занималась пропагандой. Он говорил: "Боже мой, какие у нас примитивные представления о немцах, какую ненависть нам внушали к ним. Никогда не думал, что немцы такие прекрасные люди".

Отец убивался, что мы создаем немцам рекламу. Некоторые пассажиры давали нам визитные карточки, приглашали их посетить. Мы все больше и больше успокаивались, но в каждом порту думали: "Вот будет номер, если нас снимут с парохода, арестуют!" Но мы благополучно добрались до Марселя.

Отец выигрывал во все игры. Англичане очень ценят манеру проигрывать с улыбкой. Но когда дело дошло до палубного тенниса, один шотландец, который когда-то был чемпионом своего колледжа, решил ни за что не сдаваться. Отец и его обыграл, хотя он не знал никаких правил и играл довольно неуклюже. Шотландец искренне огорчился, и я очень его жалела.

Только в Марселе мы почувствовали себя спокойно. Поехали в Париж, купили кое-какие вещи — пальто, несколько платьев и вернулись в Москву.

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

В 1935 году, когда обсуждалась сталинская конституция, как что-то весьма серьезное, и я, и мои знакомые чувствовали подъем. Конституция упраздняла ограничения, связанные с социальным происхождением. Теоретически мы понимали и вполне одобряли, что раз пролетариат — гегемон, то представителей других классов, естественно, не принимают в институты и вообще ограничивают в правах, но практически такое положение очень угнетало. При чистках в вузах мальчишки кончали с собой, когда на третьем курсе обнаруживалось, что дед был фабрикантом или торговцем. А частенько этот дед был каким-то бедным лавочником.

Теперь не было больше ограничений — в социализм вошли. И все скептические разговоры отца о Сталине, каким он его знал в туруханской ссылке, забылись. Было время, когда я любила Сталина! Считала, что он великий человек и мудрый вождь и что он приведет страну к коммунизму.

Отец вернулся в 36 году, я его встретила и еще на вокзале сказала: "Знаешь, все-таки Сталин — великий человек!" Отец ответил: "Я рад за тебя, что ты так думаешь. Легко жить в согласии с существующим положением". Он всегда был большим скептиком. Я прибавила: "Такой подъем в стране, обсуждалась новая конституция".

Я не знала о том, что происходило в связи с убийством Кирова, кроме того, что была арестована и расстреляна группа комсомольских вождей. Я рассказала тогда отцу об этих ребятах, меня поразил их арест. Но больше ничего особенного я не заметила — только арест и расстрел нескольких человек.

В этот период мы довольно часто встречались с "Эммой" — Марусей Кубанцевой. Она всегда была влюблена в отца, еще с того времени, как они были в подполье в Крыму. Когда мы раньше встречались, она говорила ему: "То, что ты не член партии, — это противоестественно". Он всегда отшучивался: "Мировую революцию можно делать и не состоя в партии". Но вдруг у нее начались крупные партийные неприятности. В 20-х годах она подписала платформу

Зиновьева. Это пресекло ее блестящую партийную карьеру в самом начале. Она пошла учиться, стала хорошим врачом. Когда мы вернулись из Америки, ее уже дергали: исключили из партии, прорабатывали, потом восстановили. Однажды она сказала: "Какое счастье, что Алеша не член партии! Выступать на собраниях, каяться, обвинять своих друзей он бы не смог".* На ее жалование жила огромная семья, и когда ее сняли с работы, я через Торгсин помогала ей, но особого впечатления ее история на меня не произвела — что ж, она наделала партийных ошибок!

Наш друг Муля Хаевский еще в 20-х годах должен был написать заявление, что он отказывается от своих буржуазных родителей, а между тем, он продолжал поддерживать с ними связь и нежно их любил, и устраивал им квартиру в Москве.

Однажды твой отец случайно увидел у него на столе какую-то партийную анкету. Хаевский писал, что он был начальником подрывных отрядов в Крыму. А именно отец был начальником подрывных отрядов. Муля покраснел и стал оправдываться: "Знаешь, партийная чистка, нужно немного "округлять".

Когда отец приехал, он, конечно, очень убивался — как воспримут его последний провал в Управлении. Но о нем там были самого высокого мнения. Сам заместитель начальника Шрайбер мне говорил: "Он вел себя достойно, какие могут быть к нему претензии!"

Отца послали в санаторий, в Одессу. Там собралось много знакомых, и было очень весело. Это был наш последний веселый год, 36-й.

Август 36-года, такое страшное время, а мы ничего не замечали. Начался процесс Каменева-Зиновьева. Мы верили каждому официальному сообщению. Не только я, но и отец. Я говорила: "Если их не расстреляют, это будет позор и вызов народу! Как они могли дойти до этого!?" А отец возражал: "Знаешь, вина не только на них. Если бы можно было вести идеологическую борьбу цивилизованным

*Отца друзья обычно называли Алешей.

ми средствами, им не надо было бы прибегать к таким методам. Так что их вину делит руководство партии, которое установило такие порядки". Но и отец несколько не сомневался, что все обвинения против них — правда.

Пришел нас навестить товарищ, бывший анархист Тартаков. Все анархисты к тому времени были бывшие. Те, которые оставались анархистами, находились на Соловках. Таких было немного. Некоторых выслали за границу. А большинство стали большевиками — и те, которые вступили в партию, и те, которые формально не вступили. У этого Тартакова, когда он был на фронте, в 20-м году, родился сын, и его жена, под влиянием родственников, сделала сыну обрезание. Когда Тартаков узнал об этом, он не пришел больше домой и решил не знать своего сына. Такой он был. Он пришел к нам и стал рассказывать о коллективизации, о голоде на Украине. Он сам это видел. Нас он совершенно огородил. Мы видели все в розовом свете. Мы не могли опровергнуть факты, о которых он рассказывал, но мы решили, что он стал врагом и как антисоветски настроенный человек все страшно сгущает и даже выдумывает. Больше мы не встречались. Это был второй случай, когда мы разошлись со старым товарищем, с которым были вместе на фронте, и друг ради друга рисковали жизнью.

Первый случай произошел с Ваней Шахворостовым, тоже бывшим анархистом и матросом чуть ли не с "Потемкина". Он отбывал когда-то ссылку в Туруханском крае, а туда простых матросов не ссылали. В ссылке он жил в одном "станке" со Сталиным и питал к нему большое почтение как к вождю — тот же был членом ЦК — и как к грамотному человеку. Ваня все умел делать, и он для Сталина построил дом, считался ближайшим к нему человеком.

В 24-м году я жила одна в Москве. Ваня приехал в первый раз в Москву и пришел ко мне. Я спросила, будет ли он у нас ночевать. Он ответил: "Не знаю. Я сегодня хочу повидаться с Джугашвили. Может быть, я у него переночую".

В то время шла партийная дискуссия, и имя Сталина было уже известно. И хотя я недавно приехала из-за границы, но все-таки больше понимала, чем он. Я спрашиваю: "А ты с ним договорился?" — "А что с ним договаривать-

ся? Я позволю и скажу: "Ванька Шахворостов придет к тебе сегодня." Это для вас здесь он знаменитость!" И я поверила, что Сталин его примет, зная, как они были близки и вспоминая, как Свердлов в свое время принял отца. Тем более, ко мне ночевать он не пришел. Явился он на другой день, очень мрачный. "Ну, ночевал ты у Сталина?" Он помрачнел еще больше и выругался. "Забурели тут все! Я звоню, а какой-то секретаришка спрашивает, кто я такой. Я говорю: "Ты скажи своему шефу, что Ванька Шахворостов звонит, приехал в Москву"...

И он начал высказывать все, что у него на душе накипело, все, что мог почувствовать пролетарий.

Когда он потом несколько раз приезжал в Москву, он приходил к нам, а со Сталиным больше не пытался связаться. В Москву он приезжал в командировку, был он на довольно ответственной хозяйственной работе в Одессе. Я помню, он выпивал невероятное количество чая. Мы только приехали из Америки. Я кипятила чайник, и он выпивал один чайник за другим. И высказывался, опять-таки, о коллективизации: "Ты понимаешь, что такое была для нас коллективизация!" Мы решили, что вот — социализм уже построен, потому что коллективизация прошла блестяще. А он говорил о страшном голоде, об арестах, о том, что существуют лагеря, что арестовывают безо всякого повода. Мы были поражены — пламенный революционер и такие вещи говорит! Мы такого в буржуазной прессе не читали! Об арестах без суда! И он почувствовал наше отношение и больше к нам не пришел. Больше мы его не видели и, когда ездили в Одессу, уже не встретились с ним.

Приближался 37-й год, но мы ничего не замечали. А ведь мы встречались с разными людьми — с Яковом Рудиным, с Наумом. Мы были ближайшими друзьями. Мы встретились с Рудиным зимой 36-го года и стали ему жаловаться: "Странные, озлобленные есть люди. Иногда приходится слышать такие вещи, причем, от людей, от которых совсем не ожидаешь". И он как-то вяло нам отвечал. Это было после суда над Каменевым и Зиновьевым. Мы к нему: "Как это могло случиться? Объясни!" Мы решили, что те, которые на скамье подсудимых, это и есть все преступники. Мы не

знали, что в связи с этим процессом еще тысячи сидят. Рудин был генералом в Артиллерийском управлении. И он был слишком умен, слишком много знал. Он сказал только: "Логика борьбы!" Но я допытывалась, как это могло случиться? И тут он говорит: "Коллективизация..." "Как — коллективизация? Это ведь большое достижение!" Он как-то странно посмотрел и сказал: "Досталось это очень тяжело, многие не могли выдержать". Как видно, он не хотел распространяться. И я говорила отцу: "Что происходит с Рудиным? Как странно он себя ведет!"

К этому времени уже посадили Тухачевского и многих других. И при каждом новом имени мы спрашивали друг друга: "Что это такое? Почему?" Но больше не верили, что посаженные — шпионы и вредители. Не может быть столько врагов ни у одного народа, и таких врагов, которые, так сказать, во главе страны. Но за что их сажают и кому это нужно?

Я тогда училась в институте. Отец работал в одной из школ Разведупра, читал там специальный курс. Он заходил иногда за мной в институт, и мы вместе ехали домой. И каждый раз я в институте слышала о новых арестах членов ЦК, Политбюро, и каждое имя вызывало страшное недоумение, тревогу: "Что же это делается?" Отец сообщал свои новости. И вот однажды он зашел за мной, и я говорю: "Знаешь, арестовали такого-то, кажется, Угланова". А у отца вид рассеянный. Он говорит: "Я тебе более интересную вещь скажу — арестован Рудин. Понимаешь, раньше все были крупные имена, а тут мой товарищ". Тут я сказала отцу такую фразу: "Знаешь, виноват он в чем-нибудь или нет — мне это уже не интересно. Я — с Рудиным. Я его знаю. Он дурного не делает".

Больше нас ничто не занимало. Мы начали обратный путь. Мы вспоминали все, что видели и слышали, но раньше всегда отталкивали от себя, все плохое, что мы сами замечали, против чего мы сами были. Мы тогда говорили: "Да, это так, но все равно — Советский Союз — база мировой революции, надежда человечества, его надо защищать". И мы вспоминали свои собственные прегрешения, как мы содей-

ствовали лжи. Мы не желали знать правды, сколь бы горькой она ни была. Стоило мне прочесть в "Нью-Йорк Таймс" корреспонденцию Уолтера Дуранти о том, что, конечно, недостатки в России есть, но говорить о голоде — это преувеличение, — как я торжествовала: "Если буржуазный журналист так пишет, значит, это все выдумки". И теперь, когда я при очередном аресте спрашивала: "Что же делается? Почему? За что?" — отец мне спокойно отвечал: "Чего ты так волнуешься? Когда белых офицеров расстреливали в Крыму — помнишь, я тебе рассказывал — ничего, не волновалась? Когда буржуазию, кулаков уничтожали — так надо было? А как дело дошло до нас: "Как, почему?" А это с самого начала так было". На это я говорила: "Я понимаю, что когда людей убивают — это ужасно, но всегда давалось объяснение, что это нужно для торжества революции. Но тут же не дается никаких объяснений!"

В общем это была страшная пора. Мы стали искать в прошлом — когда была совершена первая ошибка? До какого момента все шло, как нужно? И разматывали нашу жизнь все дальше и дальше, и дошли до Октябрьской революции. Вот когда была совершена ошибка. И оказалось, что прийти к такому выводу все-таки страшновато. Октябрьская революция — ведь если я не умерла за нее, то это совершеннейшая случайность, мои друзья погибли за нее. Если я не убила за нее — это тоже совершеннейшая случайность, потому что мои друзья убивали за нее. Меня Бог спас.

Это было немножко страшно принять, но мы приняли. Я потом понимала, когда другим было нелегко это принять. И мы были одни, как ни странно. Во-первых, всех пересажали. Между арестом брата Наума и его собственным прошлым месяца три. Наум тоже был артиллеристом, кстати, работал за границей по заданию разведки. Но у него было "чистое" дело — он интересовался новейшими видами вооружения. Жил на легальном положении при советском посольстве. Когда посадили брата Наума, разговоры еще были такие: "Он, конечно, ни в чем не виноват, но его могли запутать". Наконец, все это нам надоело, и однажды, незадолго до ареста, Наум, которого мы, кажется, видели тог-

да в последний раз, сказал: "Послушайте, дайте мне слово, что если меня посадят, вы не будете гадать, за что меня посадили. Никто меня не запутал. Ничего я не сделал. Знайте, что берут ни за что".

С ним мы говорили откровенно, но и ему мы не смели сказать, что мы думали об Октябрьской революции. Мы уже договорились, что сажают ни за что, но посягнуть на святая святых мы могли только в разговоре друг с другом.

Наум ждал ареста. По-разному бывало. Некоторых, как Рудина, брали внезапно. А некоторых мучили до ареста: прорабатывали, исключали из партии, снимали с работы. И в это время, между исключением из партии и арестом, они как на сковородке жарились.

С Наумом именно так поступили. Его исключили из партии за то, что сидели его брат и друзья. Мы, кажется, оставались единственными, с кем он еще общался. Мы приезжали к нему. Он был в ужасном состоянии. О пытках мы ничего не знали, не предполагали даже. И Наум не знал, что на следствии ему перебьют позвоночник, а потом расстреляют.

Ужас ареста был не только в том, что с тобой сделают "там" — об этом часто не думали, — а в том, что станет с семьей. Тот, кого сажали, вычеркивался из жизни, а на семью падал позор. Наум рассказывал нам с горечью о разговоре с сыном. Все дети знали о врагах народа. И Наум спросил своего десятилетнего сына: "Слушай, Толя, если бы тебе сказали, что твой отец — враг народа, как бы ты к нему относился?" И сын ответил: "Я бы его убил своими руками!" Мы встретились с Толей в 56-м году, и он вспомнил свои слова. Он помнил их всю жизнь.

То, что других берут, а нас — нет, было странно. Раньше я о себе думала, что я не способна бояться. Но однажды отец пришел домой позже обычного, и я его встретила истерикой: "Как ты мог? В такое время!" Тогда я поняла, что и я боюсь, как другие. Нет, пожалуй, не так. Просто, если раздавался звонок, я вздрагивала. Страх был какой-то инстинктивный. И тут прибавилось другое — отец остался без работы. Из Разведупра его уволили в начале 37-го

года. Это было неожиданной, страшной катастрофой. Тогда еще большинство его близких друзей были целы. Правда, Хаевский был арестован где-то в Киеве, но его вскоре выпустили.

К этому времени человека уже не брали на работу просто за "общее развитие" и за доверие, которое к нему питала партия. И оказалось, что у отца нет никакой специальности. Мы не голодали, у нас еще оставались ценности. Тогда можно было продать вязаный костюм и прожить на это месяц.

Незадолго до закрытия Торгсина я купила какие-то меха на доллары, которые у меня остались после заграницы. Я кончала институт, должна была родить. Того, что отец без работы, было бы достаточно, чтобы чувствовать себя очень невесело, но другое, главное, затмевало все. И часто мы несколько игриво говорили: "Чего нам беспокоиться о работе, может, завтра посадят!"

Безработица была пустяком по сравнению с тем, что могло случиться, если бы отца посадили. Семью ведь сразу выбрасывали на улицу. Мы жили в Военном городке. Что там делалось! В детский сад ходили дети военных. Когда ночью брали отца, утром ребенка уже не приводили в детский сад.

Наша приятельница рассказывала, что однажды, когда она привела свою дочь, в детском саду было только двое детей. У всех остальных отцы были уже арестованы. Так о чем было беспокоиться? У нас была слишком развита общественная жилка, чтобы бояться только за себя, может, это и спасало. Эта же приятельница, например, опасалась со мной говорить по-английски. В прошлом мы с ней всегда говорили по-английски, как со всеми, кого знали из Америки.

Виктория, жена Рудина, после его ареста и незадолго до своего прихода к нам каждый день. Однажды она сказала: "Может, лучше не ходить к вам? Я боюсь, что за мной следят." Я так искренно возмутилась: "Как это такая вещь может прийти в голову!?" А ведь брали ни за что. Не за то, что кто-то с кем-то встречался.

Мне рассказывала Маруся Кубанцева — мы с ней тогда мало встречались, люди вообще тогда мало встречались,—

что на партийных собраниях доходили до настоящей истерии. Одна бывшая троцкистка выступила и обвинила свою подругу в том, что та сочувствовала троцкистам, ведь она ей помогала, посылала ей в 20-е годы продукты в ссылку. Посадили обеих, но она думала, что спасет себя. И вообще — черт знает что делалось!

В разгар 37-го года приехал в Москву из Испании Владимир Горев. Горев был до 31-го года резидентом советской разведки в Америке, его сменил тогда на этой работе отец. Горев был совершенно необычайным человеком. Во-первых, удивительной наружности. Такая мужественная красота. Очень светлый. У немцев бы считался образцом арийца. Он происходил из крестьянской белорусской семьи. И этот человек сделал из себя настоящего джентльмена. Он нас просвещал, как нужно себя вести, как в лифте мужчина должен снимать шляпу, если входит дама. Потом он воевал в Испании, об этом периоде много написал Эренбург в книге "Люди, годы, жизнь" с большим почтением к Гореву.

Он приехал в Москву за очередным орденом. Мы страшно хотели с ним увидеться, чтобы поговорить о том единственном, что нас волновало. А он настолько был полон Испанией, что каждый раз, как мы заговаривали об арестах, он смотрел на нас незрячими глазами и — скорей, скорей, возвращался к Испании. Он сам рассказал, как он ехал из Испании с людьми, которых потом посадили. Дипломаты какие-то. И говорил нам: "Я не понимаю: они же знали за собой вину. Значит, надо было приехать, сразу пойти в ЦК, повиниться". А жена его, которая все время была в Москве, со злостью говорила: "А если им не в чем было виниться?" "Ну, не может быть, чтобы ни за что посадили". "А вот тебя посадят, будешь знать, что очень может быть, и сажают ни за что!" Тут мы заговорили в полный голос. И немножко, чуть-чуть его поколебали. Больше мы не виделись. Мы договорились вместе встретить Новый год. Но к Новому году его уже посадили.

Что ж, о 37-м годе можно рассказывать и рассказывать. И все же мы не знали, какой это приняло размах. Я все говорила: "Почему убивают партию?" Когда я узнала об аресте Тухачевского, я сказала: "Черт с ними, пока они

друг друга убивают, но они обезглавливают армию и промышленность. А что будет, если на нас нападет Германия?" Мы думали, что сажают только верхушку.

В то время я была уже беременна и не всегда ходила с отцом в гости. Я ему говорила: "Так нельзя жить. Мы с ума сойдем. Страна, вероятно, живет своей жизнью. Мы варимся в собственном соку, и нам кажется, что пришел конец света. Пойди к Максусу."

Макс был рабочим-печатником, старым товарищем отца по парижской эмиграции и одесскому подполью. В эмиграции он тоже считал себя анархистом, на этой почве и подружился с отцом. Славный парень. Он вступил в партию в начале 20-х годов, но остался рабочим, что было редким явлением в среде старых революционеров. Жена его тоже была членом партии, тоже пролетарского происхождения, но в свое время училась в Коммунистической академии.

Отец пошел к ним один и вернулся поздно. Я уже легла, он стал молча раздеваться. Я думала, он старается не шуметь, чтобы меня не разбудить. Спрашиваю: "Что, был у Макса?" "Да, был", - отвечает он потухшим голосом. "Что такое?" "Жена уже арестована, а его высылают в Курган. Он должен выехать в течение сорока восьми часов, а он же очень больной человек, у него язва, он на лечении. Что он там будет делать? И никакой теплой одежды нет. Я ему сказал, чтобы он пришел завтра, мы ему соберем что-нибудь теплое..."

Так отец побывал в "нормальной обстановке". А потом, помнишь, бабушка взяла вас, детей, на Украину, к нашей домработнице. Когда вы вернулись, домработница рассказывала: "Ой, що там робиться! В деревне посадили учительницу и агронома!" Оказывается, и в деревне то же самое. Тогда мы поняли размеры происходящего, и тогда мы "дошли до Октябрьской революции". О Максе мы больше ничего не слышали. Он, конечно, погиб, даже не доехав до Кургана.

Вот так-то мы жили. Интересно, какую роль сыграл в нашей жизни Н. Он жив еще. В это время он пошел в гору. Познакомилась я с ним в начале 20-х годов, когда приехала к маме в гости в Одессу и пошла на курсы стенографии.

На курсах занимались два мальчика. Н. было 19 лет. Он был очень способным. Добрый, услужливый, с чувством юмора, очень хорошо воспитанный. Стал за мной приударять, провожать меня домой, ему было лестно — я уже была "дамой", ездила за границу, жила в Москве. Отец его был бухгалтером. Каждый раз, как я приезжала в Одессу, Н. встречал меня на вокзале, и все дни, что я там проводила, не отходил от меня. И так это годами тянулось.

В 31-м году у него появились какие-то связи с "органами", что меня несколько не шокировало: он был очень революционно настроен, а ГПУ, конечно, самое подходящее место для способного молодого человека.

Когда мы опять уехали за границу, он переехал в Москву, и когда мы вернулись, он уже был каким-то начальником в НКВД. Раньше я относилась к нему, как к мальчику, а теперь он повзрослел, и тон у него изменился. Я приехала в Одессу, и он там же оказался, в санатории ГПУ, и меня туда пригласил. Принимали меня великолепно, кормили там не то что в обычном санатории, хотя наш, разведупровский, тоже был неплохой, там мы жили, когда отец вернулся из Дании.

Особенно Н. пошел в гору в начале 37-го года. То есть невероятно феерическую карьеру сделал. Стал большим начальником. Того, что мы изменились, он не замечал и не подозревал. Когда посадили Бухарина, он рассказывал: "Если бы ты знала, какой это мерзавец, вражина!" А у меня ко всему этому был "патологический интерес". Он любил поговорить, упоенный своими успехами. Хоть немного, но время от времени что-нибудь да расскажет. Поэтому я старалась, чтобы он не заметил, что я чувствую. Пока однажды не выдержала, и когда он опять сказал о ком-то "вражина, шпион", я вдруг говорю: "Не верю. Не верю, что ваши органы сажают вредителей и шпионов, а думаю, наоборот — враги народа сажают честных советских людей с какой-то целью!" Мои слова были для него таким шоком, что он прямо вздрогнул: "Ты пользуешься тем, что я на тебя не донесу, и позволяешь себе высказывать такие вещи". "Я говорю, что я думаю".

У нас охладились отношения, мы почти не встречались.

Потом он рассказал нам, что когда стали сажать всех из Четвертого управления, он очень боялся встретиться там с отцом и он договорился с М. (М. тоже еще жив, я не хочу называть его фамилию) следить, не появится ли в протоколах фамилия отца, а это могло случиться по делам Четвертого управления, и попытаться чем-нибудь помочь.

Однажды допрашивали женщину по имени Люся Феррари. Я ее знала, она работала в Управлении с самого начала, и она дала против отца показания, будто он был завербован в Австрии. Н. пошел на допрос и стал ее допрашивать по ее протоколу: "Где, когда завербован?" И она отказалась от своих показаний.

Еще до массовых арестов он помог отцу устроиться на работу. Берзин вернулся из Испании, и его опять назначили начальником Четвертого управления. Берзин всегда хорошо относился к отцу. Отец пришел к Берзину и рассказал, за какую глупость его уволили из Управления. Доносил на отца начальник разведывательной школы, которого потом самого посадили — и с концами. Берзин назначил отцу прийти в определенный день, а когда отец пришел, Берзина уже арестовали.

Каждый раз, когда отец куда-нибудь обращался, оказывалось, что того человека посадили. Отец пришел к очень крупному начальнику уже не Управления, а армии. Тот сказал: "Да, неосторожно вы себя вели!" Зачитал ему донос. Оказывается, отец на своих лекциях сказал, что безработные в Дании лучше обеспечены, чем наши рабочие. Отец сказал: "Поймите, я говорил это не для пропаганды западного образа жизни, а для дела. Нужно же нашим разведчикам знать, как себя вести." И вот, когда все попытки вернуться в Управление лопнули, Н. сказал отцу: "Ты знаешь английский язык, почему бы тебе не пойти преподавать? Я могу тебя устроить в Академию имени Фрунзе, там наш человек сидит, он скажет, чтобы приняли." Помню, фамилия этого главного стукача в Академии была Чехов.

Когда отец сообщил мне, что он будет преподавать английский язык, я не поверила. Для него слово "подлежащее" было чем-то непостижимым. "А что делать? Буду препода-

вать!" Правда, он зверски готовился к каждому уроку и стал лучшим преподавателем в Академии!

Н. с молодых лет любил похвастать. Продвижение по службе вскружило ему голову. Ему недостаточно было иметь чин начальника группы, если об этом никто не знал. Однажды он нам рассказал, что допрашивал Ягоду. Он зашел к нам на Лубянский проезд во время процесса, сказал: "Я тороплюсь, сейчас будут допрашивать моего "подопечного" Я должен присутствовать, как бы он не сказал что-нибудь не то."

А в другой раз он по поводу чего-то высказался: "Это вроде того, что мне сказал Бухарин"... Бухарину дали возможность в камере писать. Об этом упоминает в своих воспоминаниях Иосиф Бергер. И однажды Бухарин попросил, чтобы его работу передали кому-то на волю. А ему говорят: "Зачем же, Николай Иванович, Вас же не расстреляют. Вы сами и распорядитесь потом своей работой". Это было перед самым процессом. А Бухарин отвечает: "Знаете, на всякий случай. Как спросили одного монаха: "Зачем тебе..., ты же дал обет безбрачия." "На всякий случай", — отвечает монах. Так и тут." Еще Н. рассказывал, что он играл с Бухариным в шахматы, когда следователю надо было выйти. Почему не посидеть с Бухариным?

Не помню точно, в Ленинграде ли он был начальником отдела по борьбе с контрреволюцией, а в Москве заместителем, или наоборот. Поездка в Ленинград была его лебединой песней. Отправили их из Москвы целой группой. Ленинградских расстреляли, и их прислали взамен. А потом этих — всю группу, человек семь — расстреляли, только он остался живой, еле выскочил.

Он рассказывал, что ему дали цифру по его району — посадить столько-то человек. Он отказался. Он сказал на совещании: "Я не могу выполнить этот план". И говорил мне с такой горячностью: "Ты понимаешь, всех бывших политкаторжан пересажали, латышей всех посадили — где я им столько наберу?" Тогда другой, которого я тоже знала, — он заходил вместе с Н. к нам на Лубянский проезд, — говорит: "Ну, если товарищу трудно, я возьму его цифры в допол-

нение к своим." Я слушала, впитывала каждое слово: "Вот оно как делается! Дают контрольные цифры. Как в любом учреждении. Мы ведь до конца не понимали, как же это делается, по какому признаку берут, кого и за что. Оказывается, дают цифры."

Его уволили из органов в конце 38-го года. Та группа, которая с ним поехала в Ленинград,— это была последняя смена. А он пошел скромно работать заместителем директора на завод. В начале войны его опять взяли в органы начальником отдела. Почему-то во флот. И опять он стал большим генералом. Он приехал из Мурманска, оказался в гостинице Метрополь, там мы с ним встретились. Он говорит: "Ты права, было вредительство, брали ни за что." Опять его уволили из органов и послали в пехоту, и когда я с ним снова встретилась, он был просто пехотным капитаном, ожидал отправки на фронт, и довольно сильно страдал по этому поводу. Я ему совершенно искренне говорю: "На твоём месте я была бы рада отправке на фронт!" И вдруг он возмутился: "Ты что, думаешь, я должен что-то искупать? Мне нечего искупать! На моем месте нашелся бы другой, а скольких я людей спас!"

Тогда он мне рассказал про нескольких человек, в том числе, про Рокоссовского. Н. был в страшном возбуждении: "Ведь если бы не я, его бы не было в живых!"

У Рокоссовского в воспоминаниях этот эпизод есть, хотя рассказан несколько по-другому. Н. рассказал, что когда он зашел на допрос к Рокоссовскому, тот стоял. Высокий, лицо интересное. "Я говорю, обращаясь к следователю: "Почему он у вас стоит?" "Гражданин начальник, — сказал Рокоссовский, — я стою так уже третий день". — И тогда Н. отослал следователя, сказал Рокоссовскому "Садитесь!" — и начал с ним говорить: "Мы разберемся. Расскажите свое дело."

Он любил прихвастнуть, но не рассказывал совершенно несуществующих вещей. Тогда, во время войны, люди были искренними. Я не думаю, что он лгал.

При каждой встрече с ним я узнавала что-нибудь новое, иначе я не могла бы с ним встречаться. Когда Н. нам рассказывал, что он допрашивал Ягоду, мы несколько удивились:

все-таки он был маленьким человеком. И он объяснил, что ему поручили допрос Ягоды именно потому, что он был новым работником. Он рассказывал, что было что-то против Ягоды, на основании чего его обвиняли, но я не помню.

Когда меня арестовали, самые страшные допросы у меня были связаны с Н. Следователь расспрашивал, когда и как я с ним познакомилась. Что мы одновременно жили в Метрополе, это они выяснили. Они думали, что Н. сам рассказал корреспонденту о том, что он допрашивал Ягуду*. И они добивались: с какими иностранцами я его знакомила. Поэтому у меня было такое тяжелое следствие. Следователь кричал: "Чтобы я из-за бабы загубил свою карьеру! Мы зна-аем, а вы не признаетесь!"

Они очень хотели его посадить. "Что он вам рассказывал о своей работе? " "Ничего не рассказывал". Тогда следователь подсадил ко мне стукачку. Я пришла с допроса в ужасном состоянии и поделилась с ней: "Что им от меня надо? Это их человек." А она говорит: "Но если это их человек, почему вам не сказать о нем?" "Что сказать? Просто возвести на человека напраслину? Да если бы я солгала, чтобы человека посадили, кто бы он ни был, я бы покончила с собой!"

Когда я вышла на свободу и мы встретились, Н. рассказал, что в то время он чувствовал, что в опасности. Его вызывали, следили за ним. Но обошлось, родился в рубашке.

В период реабилитаций его вызывала Ольга Шатуновская из комиссии партийного контроля, и он перед ней оправдался. Шатуновская знала, что он был следователем одной женщины, члена Московского комитета партии, расстрелянной в 37-м году. Н. показал в деле этой женщины свое заключение, что следствием не установлена ее вина. Значит, несмотря на заключение следователя, кто-то распорядился ее расстрелять.

Н. очень хорошо отнесся к нашей семье после нашего освобождения. Человек не однозначен. Как странно, что хороший человек мог работать в этом учреждении. Совсем хороший человек, наш старый приятель Митя Сидоров, пошел

* В книге Блондена, из-за которой арестовали мать, одним из персонажей выведен следователь НКВД.

с первого дня работать в ЧК, но ушел оттуда в 30-м году, не выдержав беззаконий.

Все 20-е годы он работал, но с 29-го началось у него — он стал добиваться правды, ничего не добился. Случайность его спасла. Он заболел, долго лежал в больнице. А потом все, кто совершали беззакония, погибли, а Митя уцелел. Если он уже тогда не мог выдержать, то что говорить о 37-м годе.

Что касается Н. — он трусоват, небескорыстен, барахлист, но не злодей. Может, это небольшая заслуга, что он не мог набрать четыре тысячи человек там, где все уже было подчищено. Но в быту он всегда окажет услугу, никогда не сделает пакости. Как в лагере говорили: "Он не очень подлый."

Если бы не было всей этой системы, этот человек прожил бы приличную, уважаемую жизнь и, вероятно, никому бы не сделал зла. Злодеями рождаются, а он — обыкновенный человек.

Когда я сидела в тюрьме, я часто думала: "Сколько же Н. видел таких, как я!" И после этой своей работы он приходил к нам, называл меня "Надечка", любил гладить нашу кошку. Он очень ласковый был. И уходил из нашего дома — туда.

Жена его тоже работала в органах. Она — значительно умнее его и не давала ему слишком при нас распускаться. Он всегда должен был показать, что он — не простой человек, а у нее такой потребности не было. Он говорил лишнее, и это его чуть не погубило. Эта история с Ягодой — просто чудо, что его не посадили. Они не очень торопились, если человек у них в руках.

Я рассказала ему, как меня из-за него мучили на допросах, но без подробностей, не хотела его травмировать. Он помнит свое ощущение страха и поэтому тоже считает себя жертвой культа личности.

Только когда я рожала, в декабре 37-го года, я чувствовала себя в безопасности. Думала: "Сюда они вряд ли придут". Я лежала в роддоме, когда Сталин выступал по радио по поводу конституции. В то время, когда она обсуждалась — в 35-м году, я все принимала всерьез, но в декабре 37-го года у меня уже никаких иллюзий не осталось.

Наступил 38-й год. После родов я стала приходиться более

или менее в норму. До того я была на грани сумасшествия. Тогда как раз стали перестраивать Москву, начали почему-то вырубать деревья. Раньше было много бульваров, маленьких сквериков, а теперь образовались страшные голые пространства, залитые асфальтом.

Не то что ужас прошел, но я стала как-то более нормально относиться к происходящему.

Пока я кончила институт, посадили трех директоров. Последнюю — директрису — в 38-м году. Старая большевичка, в прошлом бундовка. Назначение директором института уже было для нее большим понижением. Она дружила с Крупской, которая иногда приезжала к нам в институт на очень паршивенькой машине. Потом директрису посадили, расстреляли или замучили.

Я встретила случайно свою старую приятельницу, и она мне сказала, что Виктор — наш близкий друг еще со времен гражданской войны — давно живет в Москве, что он был арестован, но потом его выпустили. Я о нем ничего не знала с 20-х годов. Он был одним из немногих, кого выпустили из тюрьмы. К этому времени я еще никого из таких не встречала, кроме Мули Хаевского, которого посадили в 37-м году и через два месяца выпустили, благодаря вмешательству Ярославского и Марии Ильиничны. От Мули я впервые услышала, что на следствии бьют, но подробностей не знала.

Мы встретились с Виктором и сразу перешли к этой теме. Он мне рассказал, что на следствии признался, что отравлял зерно, поджигал элеваторы, в общем — совершеннейший бред. А я знала, что он необычайно стойкий человек. В Одессе его называли Муций Сцевола. Я спросила: "Почему ты подписал?" "Потому что не выдержал мучений. И хотел жить. А то забили бы." Очень страшно слышать такое от знакомого, близкого человека. Поэтому я не могла расспрашивать его о подробностях. Ему выбили зубы и что-то повредили внутри — когда мы с ним гуляли, иногда он скрючивался и бледнел.

Он подписал, и его отнесли обратно в камеру. И он думал, что все кончилось, но его вызвали на следующий день, и следователь встретил его дикой бранью: "Давай сообщников!

Как ты мог все это один сделать? Назови, кто тебе помогал!" Виктор сказал: "Я — анархист, работаю в одиночку" Он же был анархистом в молодости, это было одним из обвинений на следствии. Неизвестно, убедил ли он следователя, его еще побили немножко, на этом дело и кончилось. Он сидел в ожидании приговора. Камеры были забиты, люди ничего не знали. И в один прекрасный день, уже после Ежова, его повели на суд. Он решил, что на суде он откажется от всех показаний. Он ждал вместе с другими заключенными, наконец, его вызвали. За столом сидело несколько человек. Спросили имя, фамилию. Виктор Андреевич Родионов... Они поговорили между собой, он не прислушивался. Потом все ушли, он остался один и ждет, что его поведут обратно в тюрьму. Вдруг кто-то заходит и говорит ему: "Чего же вы не идете домой? Вас же оправдали. У вас что, на трамвай денег нет?" Дали ему 4 копейки, и он поехал домой. Между прочим, когда был этот слабенький ручеек освобождений, людей отпускали безо всякого разбирательства — я потом слышала от других — и при этом ничего не происходило. Как раньше у них был процент, так и тут дали процент, и Виктор попал в этот счастливый процент. Может быть, они обратили внимание на дикость его признаний. То, в чем он признался, было бы не под силу не только одному человеку, а тысячной организации.

Потом мы с ним часто встречались, до самой войны. Из наших друзей у нас почти никого не осталось, и у него тоже. И было нам о чем поговорить! Во время войны он пошел на фронт и погиб.

Почему люди признаются, почему оговаривают друг друга, нам к тому времени было более или менее понятно.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА ИОЗЕФА БОЙСА

Каждые четыре года в немецком городе Касселе устраивается выставка авангардистского искусства "Документа-6".

"Документа" охватывает все общепринятые виды искусства, а также совершенно новые формы человеческого творчества. Там есть живопись, скульптура, фотография, экспериментальное кино и телевидение, экспериментальная музыка на экспериментальных инструментах, футуристический дизайн и многочисленные "установки".

Войдя в первый раз в здание "Фридрицианум", где находится большая часть экспонатов "Документы", я сразу обратила внимание на странного, на первый взгляд, человека. Немолод, невысок, худ, в джинсах, розовой рубашке и джинсовом жилете. Необычный вид ему придавала опущенная глубоко на лоб серая фетровая шляпа. Человек этот оказался ведущим немецким авангардистом Иозефом Бойсом, работы которого выставлены в крупнейших музеях мира*. Позже я увидела его экспонат, занимавший целое крыло "Фридрицианума" — "Медовый насос".

В подвале здания работает мощный насос, перекачивающий мед по тонким трубам из прозрачного пластика. Одна труба по лестничным пролетам доведена до верхнего этажа. Там она входит в большое помещение, предназначенное для организации различных симпозиумов и диспутов. В помещении труба подымается до потолка, у потолка же она закручена в спираль и подвешена на крюк. От конца спирали

труба по потолку огибает всю комнату и выходит в то же отверстие, через которое введена. Насос работает непрерывно, но перегоняет мед с различной скоростью. То мед прямо мчится по трубе, то вдруг темп спадает, толчки насоса становятся реже, воздушные промежутки между порциями меда внутри трубы растут.

Первая реакция на "Медовый насос" у меня была отрицательной. Установка показалась мне бессмыслицей, призванной эпатировать публику. Но за несколько дней, проведенных в Касселе, я несколько раз беседовала с Бойсом и убедилась, что он глубокий и оригинальный философ и теоретик искусства и что в его работах заложен глубокий символический смысл.

Я присутствовала также на лекции, прочитанной Бойсом на международном конгрессе, посвященном поискам "третьего пути", который как раз в те дни состоялся в Касселе**. В докладе Бойс изложил свои воззрения на роль искусства в современном обществе. Когда он кончил, некий молодой человек задал ему вопрос: "Ну хорошо, господин Бойс, Вы красиво рассуждаете. Но как конкретно отражаются Ваши взгляды в "Медовом насосе"?"

Бойс ответил спокойно и с достоинством. Он сказал, что эта установка была специально создана для помещения, в котором устраивает различные симпозиумы. Международный Свободный университет — организация, ставящая своей целью установление контактов между людьми различных взглядов для совместного поиска новых путей развития человечества. Он считает, что это — историческая задача, и ему хотелось найти некое символическое выражение этой деятельности. Символ — постоянно работающий организм (выставка длится четыре месяца), в котором, подобно тому как сердце обеспечивает кровообращение, насос перегоняет органическую жидкость, мед. Мысли и дискуссии на заседаниях — то острее и ярче, то текут вяло. Так же и мед движется по трубам с различной скоростью. Важно, что это движение ни на секунду не замирает полностью. Мед же выбран потому, что это продукт коллективного труда — труда пчелиного улья.

Я не могу сказать, что после этого объяснения установка стала мне эстетически ближе, но я начала серьезно относиться к тому, что делает Бойс

Бойс считает, что время старого искусства и классической эстетики безвозвратно прошло. Он выступает за расширенное понятие искусства, называемое им социальной пластикой. Он полагает, что в сферу искусства должны быть включены все формы созидательной деятельности: политика, экономика, социальные отношения и т.д.

* В Парижском музее современного искусства (Центр Помпиду) работы Бойса занимают целый зал.

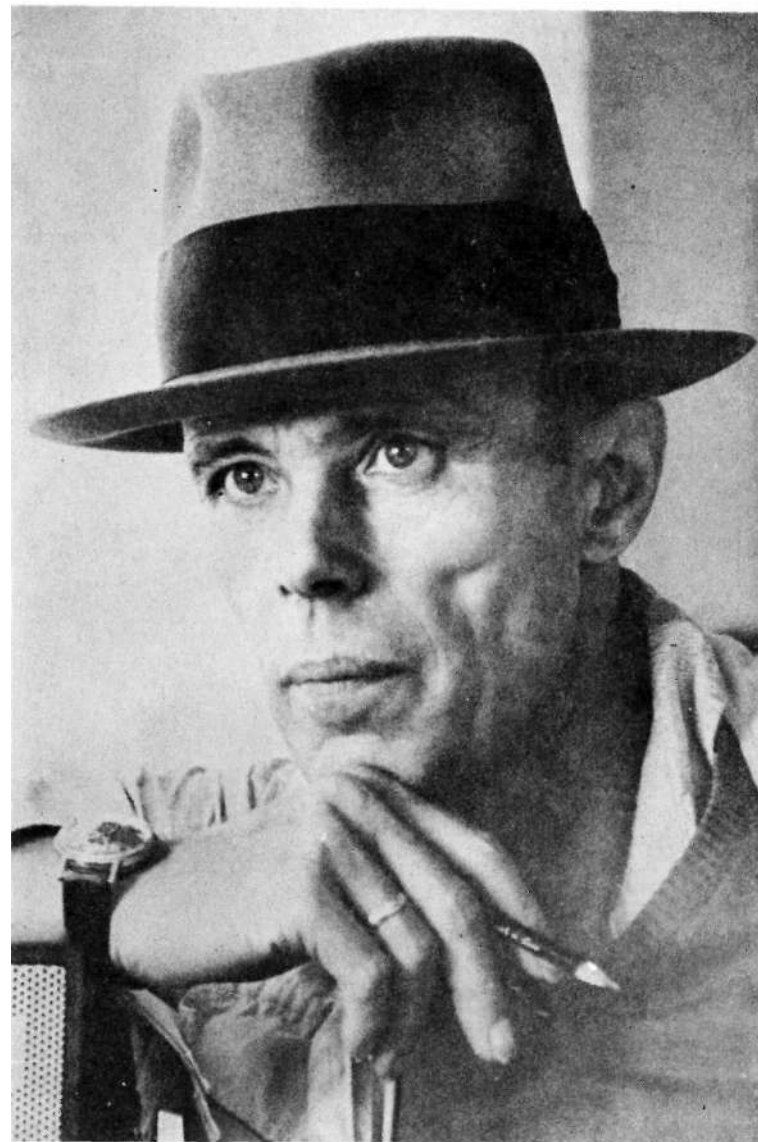
** От Израиля в работе этого конгресса участвовал Михаил Агурский, прочитавший доклад о развитии немарксистской мысли в России XX века.

Каждый человек — это творец, но существующее западное общество, а в еще большей мере тоталитарный строй в странах восточного блока, мешают реализации творческих потенциалов индивидуума. Поэтому все современные государственные структуры должны быть разрушены или полностью преобразованы. Он не выступает апологетом кровавых революций, но полагает, что созидательная деятельность групп индивидуумов приведет к изменению общественного строя. Так, Бойс — убежденный противник любых партий, ибо партия, по его мнению, является в принципе тоталитарной организацией.

Несколько лет тому назад Бойс организовал "Движение за прямую демократию". Высшим выражением прямой демократии является народный референдум, причем эти референдумы могут устраиваться по любому поводу и как угодно часто. В первую очередь Бойс полагает необходимым изменить систему школьного и университетского образования, которая сейчас полностью находится в руках у государства и соответственно формирует людей в духе, угодном государству. Необходимо добиться признания государством любых частных школ и университетов со свободой выбора программ. Из таких школ будут выходить люди, способные творчески изменять общество.

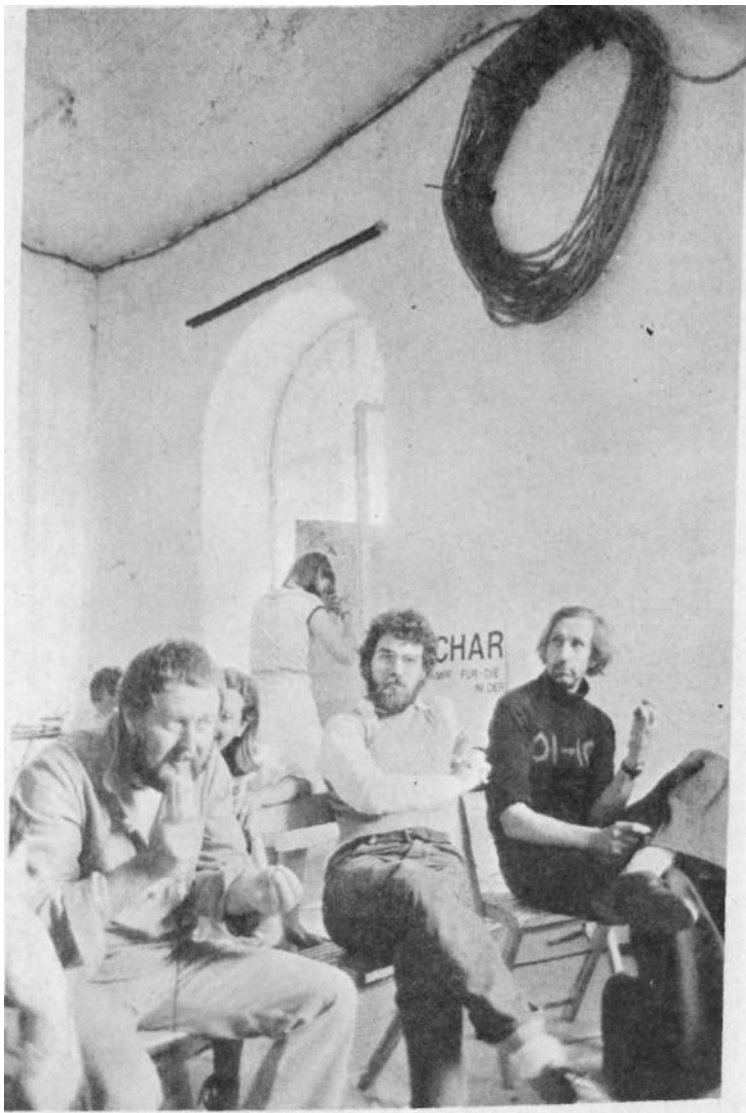
Бойс сознает, что быстрые изменения невозможны, но он полагает, что его искусство и личная социальная активность способствуют изменению духовной атмосферы в мире***.

Галина КЕЛЛЕРМАН

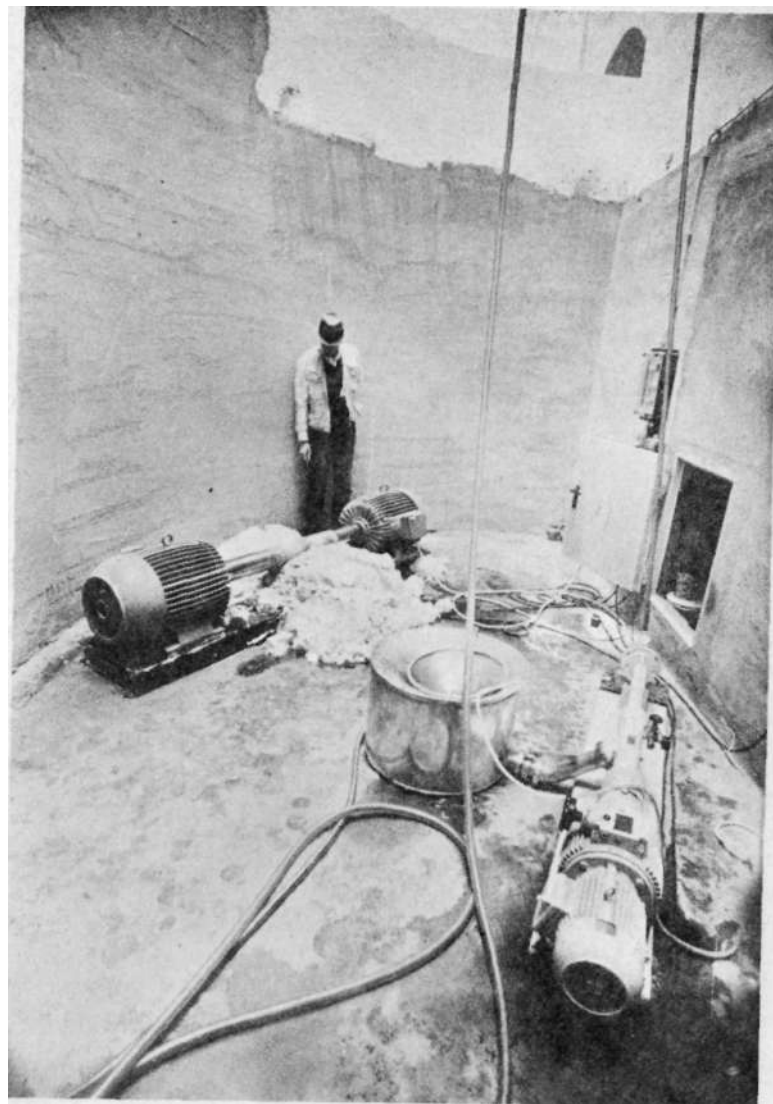


Портрет Иозефа Бойса

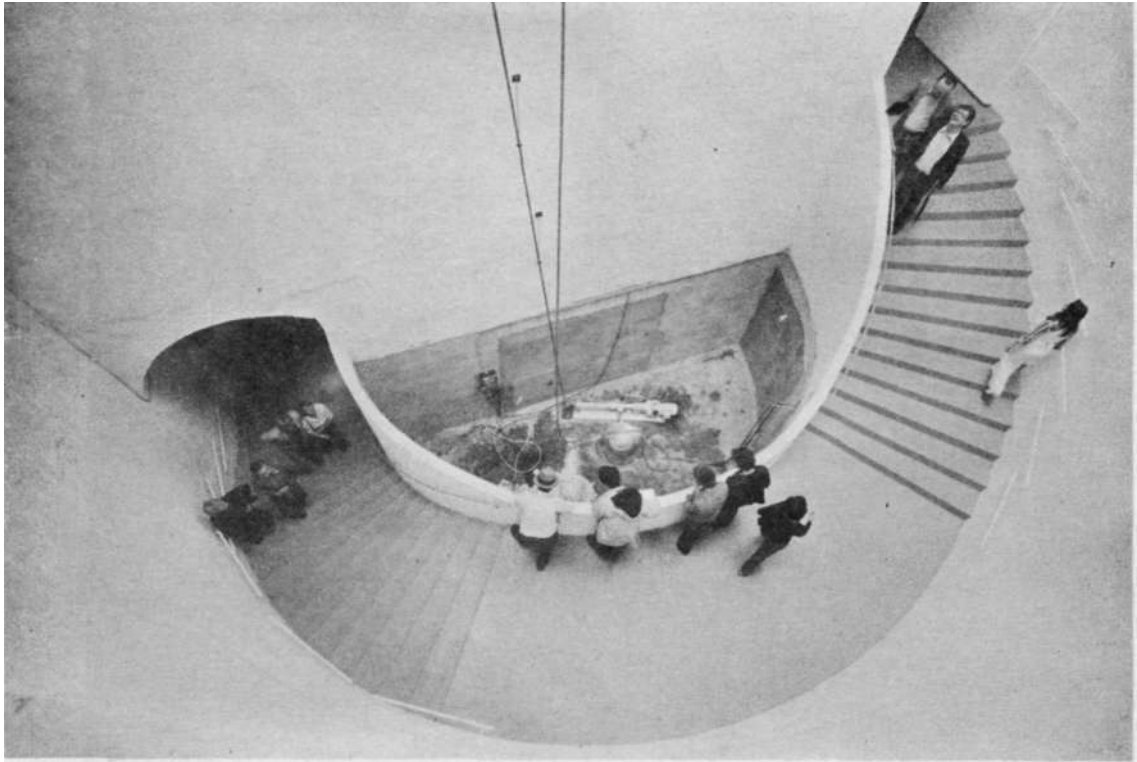
*** Философские и эстетические воззрения Бойса подробно изложены в книге: Harlan, Rappmann, Schata "Soziale Plastik. Materjalen zu Joseph Beuys" Achbenger Verlagsanstalt, 1976.



Участники Конгресса "Третий Путь"



Зал "Медового насоса"



"Медовый насос" (вид сверху)



"Социальное действие", Франкфурт, 1969

Photo & copyright Ute Klophaus

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

БОРИС ЛЫСЫЙ (НОРИЛЬСКИЙ).
См. журнал № 20.

ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ. См. журнал № 20.

МИХАИЛ ЛЕДЕР. См. журнал № 10.

ЕФИМ ЭТКИНД — писатель и критик. Родился в 1918 году. Окончил Ленинградский университет. Участвовал в войне против гитлеровской Германии на Карельском и Третьем Украинском фронтах. Затем преподавал в ленинградских ВУЗах. С 1952 по 1974 год — доцент, а затем профессор Ленинградского педагогического института им. Герцена. Уволенный с работы и лишенный ученых степеней и званий Ефим Эткинд вынужден был в октябре 1974 года эмигрировать из России. Ныне — профессор Десятого Парижского университета (Нантер).

ЭМИЛЬ КОГАН — литературный критик. Родился в Москве в 1941 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете "Московский комсомолец". В 1968 году выехал во Францию. Преподает русский язык и советскую прессу в Институте Восточных языков (Париж). Опубликовал ряд статей во французских изданиях: "Ля кянзен литтерер", "Леттр Нувель", "Ле Монд".

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — литературный критик. Родился в 1942 году. Кандидат искусствоведения. В прошлом — член Союза писателей и член Всероссийского театрального общества. Автор более 600 статей. Выступал на страницах журналов: "Новый мир", "Юность", "Вопросы литературы". В марте 1977 года был исключен из Союза писателей после того, как сделал заявление перед западными корреспондентами в Москве о цензуре и разгуле антисемитизма в Советском Союзе. В июне 1977 года покинул СССР.

НАДЕЖДА УЛАНОВСКАЯ. (См. вступление к ее воспоминаниям "В России и за границей").

DIGEST OF 21 ST ISSUE OF "VREMIA I MY" ("TIME AND WE")

BORIS NORILSKY. The Black and the White. The continuation of the essay begun in the 19 th issue.

LEONID GIRSHOVICH. Death Betrays Itself. An attempt of a detective story written by a modern Israeli Russian-speaking author.

LEONID GUBANOV. Poems.

VADIM DELONNE. Words are Knocking at the Bottom of My Soul. Poems.

MICHAEL LEDER. This Beautiful Criminal World. An essay about the growth of crime rate in modern world.

EFIM ETKIND. A Maple Leaf. A historical essay concerning some aspects of the Decembrists' movement.

EMILE KOGAN. An Angle of Discrepancy. A critical analysis of the book "Solzhenitsyn and Reality" by D. Panin.

VLADIMIR SOLOVYOV. Critical notes on Isaak's Babel works.

NADEZHDA ULANOVSKAYA. In Russia and Abroad.

The art display of the "Vremia i my": social plastic art of Joseph Bois.

БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ издает на русском языке произведения, посвященные еврейской тематике (в оригинале и в переводе с иврита и других языков).

БИБЛИОТЕКА дает возможность репатриантам из Советского Союза и русскоязычному читателю ознакомиться с культурным наследием Израиля и еврейского народа, с его литературой, историей, достижениями в науке, с сионистским движением и становлением Государства Израиль, с произведениями писателей и поэтов-олим.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН. Роман. Пер. с английского. Роман Г. Рота "Наверно это сон" - одно из произведений обширной американско-еврейской литературы периода 30-х гг. нашего столетия. Жизнь евреев-иммигрантов в Нью-Йорке увиденна глазами ребенка, зоркими, проницательными и удивленными.

Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ. Роман. Пер. с иврита. Автор книги Моше Шамир (1921) известен как прозаик и драматург, повествующий о современной израильской жизни. Роман "Он шел по полям" повествует о жизни молодежи в Эрец Исраэль в период Палмаха (1947-48). На сюжет этого романа М. Шамир создал пьесу и сценарий для кинофильма.

Д-р Иихак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ.

Пер. с иврита.

История сионизма в России не нашла до сих пор достаточного отражения в работах израильских историков. Этот пробел заполнил автор книги И. Маор в своем объемистом труде. В переводе на русский язык книга приобретает особое значение для читателя,

ЧИТАЙТЕ НЕДАВНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК. Пер. с английского. Автор книги "Помощник" - Бернард Маламуд (1914) рассказывает в своих произведениях в основном об американских евреях. Здесь он не только великолепный бытописатель, но и психолог, и социолог, и философ, открывающий новые стороны действительности. Литературная известность пришла к нему только в 1957 году, после выхода в свет романа "Помощник", ставшего бестселлером.

МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник воспоминаний.

Большая алия семидесятых годов из Советского Союза явилась поворотом в истории советского еврейства. Неповторимые судьбы репатриантов описаны авторами очень интересно. Эти очерки были представлены на конкурс, объявленный Центром документации и исследований восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете. Они дополняют картину истории последних поколений советского еврейства. В настоящем сборнике представлены работы авторов-олим, получившие первые три премии.

ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ.

Мемуары. Пер. с иврита.

Друзья и боевые товарищи Джимми, горячо любившие своего командира, в своих беседах часто вспоминали Джимми-подростка и Джимми-солдата. Из этих непринужденных рассказов-воспоминаний и родилась книга "Друзья рассказывают о Джимми". Это одна из самых популярных израильских книг мемуарного жанра периода Войны за Независимость.

Цена книги в розничной продаже — 14 лир

За рубежом - 2 доллара.

Обращаться по адресу: The Aliya-Library 14, Beeri str., room 208 Tel-Aviv.



ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВРЕМЯ и МЫ

принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.

Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском и английском языках и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.

Наряду с этим издательство "Время и мы" осуществляет для израильских и зарубежных фирм переводы с английского и немецкого языков на русский, а также с иврита на русский и с русского на иврит.

Выполняются заказы на машинописные работы на русском и английском языках, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством. Наряду с этим издательство принимает на себя работу по распространению этих книг в Израиле и за рубежом.



ФОНД ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Решено основать Фонд друзей журнала "Время и мы". Средства Фонда будут расходоваться на поддержку деятельности этого журнала, привлечение к его работе наиболее одаренных русскоязычных писателей в Израиле и за его пределами, на издание лучших произведений евреев-писателей, как приехавших в Израиль, так и остающихся в России, на установление связей с русским и еврейским Самиздатом.

В правление Фонда вошли:

Израиль Бар-Шира, Даниель Блюдз, Егошуа А.Гильбоа, Михаил Клявер, Яков Махт, Борис Орлов, Виктор Перельман, Наталия Рубинштейн, Йосеф Текоа.

Взносы направлять через банковский счет журнала "Время и мы" по адресу:

Israel Discont Bank L.T.D., branch Akirja account 140317.

ВРЕМЯ И МЫ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

В ИЗРАИЛЕ

на 6 месяцев — 168 лир.

на 12 месяцев — 288 лир.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев 19.60\$

на 12 месяцев 39.20\$

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — 92 F.FR.

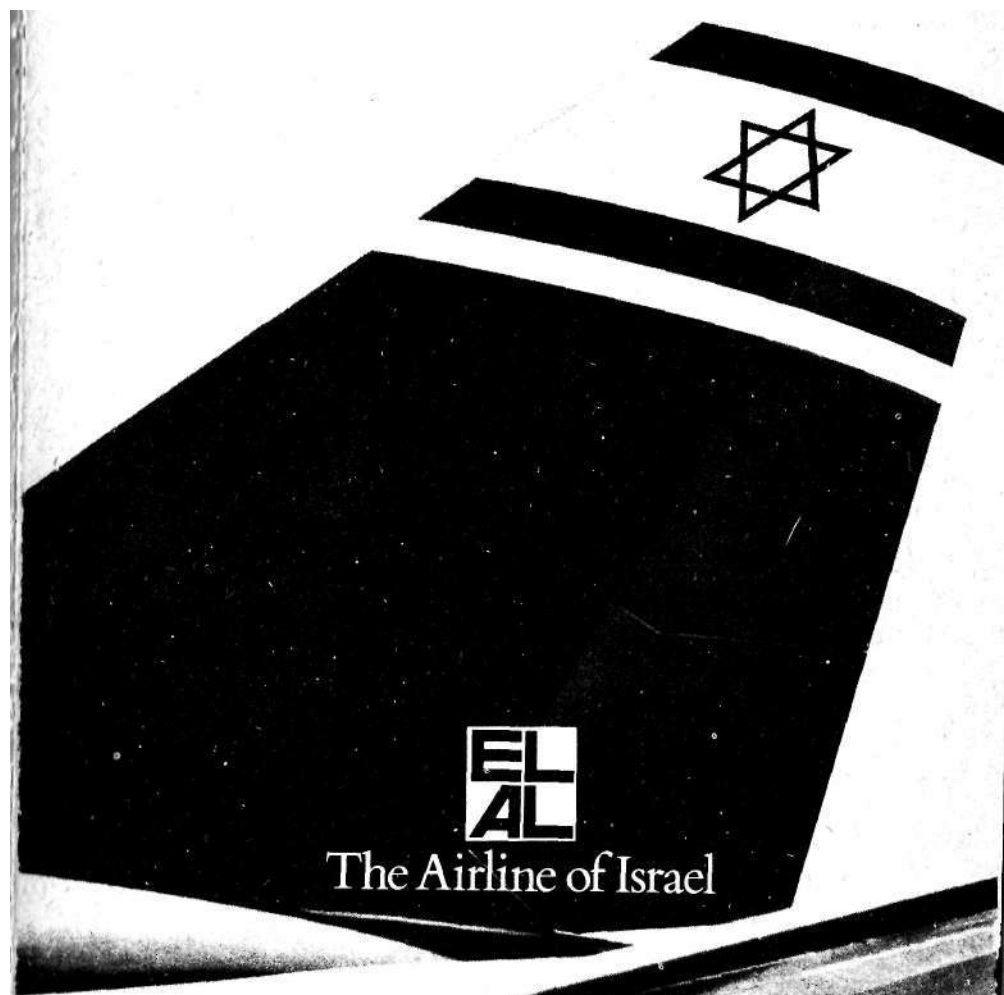
на 12 месяцев — 184 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — 46 DM

на 12 месяцев — 92 DM

No other airline can make this statement.



Зав. редакцией Марина Голубева

Художественный редактор Альфред Кронберг

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив. ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani St. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Микцоз, 9. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки "Хеппенинг" Иозефа Бойса
Photo & copyright Ute Klophaus**

